

Матьяна Соловьева

*Что сказал
Бенедикто*

Роман-метафора

Часть 1

18+

Татьяна Соловьева

Что сказал Бенедикто. Часть 1

«ЛитРес: Самиздат»

2013

Соловьева Т. В.

Что сказал Бенедикто. Часть 1 / Т. В. Соловьева — «ЛитРес:
Самиздат», 2013

ISBN 978-5-5321-1646-7

Роман-метафора. Эта книга является метафорой духовного пути и духовного ученичества и не может послужить руководством для освоения любой из упоминаемых практик. Начало XX века. Аланд, человек, наделенный духовным знанием, собирает своих учеников. Первая часть романа посвящена жизни главных героев до Посвящения и первым шагам на духовном пути.

ISBN 978-5-5321-1646-7

© Соловьева Т. В., 2013
© ЛитРес: Самиздат, 2013

Книга первая. За белым забором Вместо предисловия

В одном из предместий Берлина, вдоль шоссе на пустыре, тянулся каменный белый забор. У глухих металлических ворот не было никаких табличек и обозначений.

Когда он возник, что происходило за белыми стенами, кажется никогда никого не интересовало: никто не стучал в эти ворота, не проявлял любопытства, не стремился проникнуть сюда. Словно Корпус располагался в невидимой зоне, познавательный инстинкт любого отключался, стоило к этим стенам приблизиться, у того, кто приближался к воротам, наступало странное забвение, и становилось непонятно, зачем он сюда приходил.

Это была территория закрытого секретного Корпуса генерала Аланда.

Аланд, в своё время повоевавший, имевший боевые награды, первую мировую, закончившуюся для Германии тяжелым фиаско, провел в стенах своего Корпуса. Чем он занимался с немногочисленными учениками, никто не знал, упоминание секретности в названии Корпуса предполагало отсутствие прямого ответа на этот вопрос.

Кто владел секретом секретного Корпуса было не понятно. Генералитет считал, что спецслужбы, спецслужбы полагали, что Аланд относится к военному ведомству, а может быть, работает по заказу самого императора Вильгельма. Во всяком случае, Аланд был вхож в такие высокие инстанции как свой, что сомнений его персоне ни у кого не вызывала. С ним обнимался при встрече император, ему с благоговением пожимали руку дипломаты, министры, магнаты, генералы, и на это глядя, никто бы не усомнился, что Аланд – самый незаменимый человек в государстве.

Аланд обладал даром естественности, легкости и простоты; он улыбался умиротворенной улыбкой счастливого человека, говорил с юмором, то очень изысканно, то немного грубовато, но всегда веско и, похоже, знал все языки на свете. С посланником какой бы страны ему ни приходилось общаться, он говорил на языке гостя, как на своем родном языке.

Мимоходом оброненные им предсказания – сбывались, но впоследствии он никогда о них не напоминал. Он заражал окружающих верой в благополучном исходе всех катаклизмов, не рассуждал о том, чем кончится для страны то или иное поражение, готовил каких-то штучных, богоизбранных офицеров, но если они будут такие, как Аланд, то, ясно, что их много и не бывает, каждый такой офицер принесет неоценимую пользу отечеству.

Страну лихорадило и трясло, все ходили убитые и издерганные, а он был бодр, спокоен и непоколебимо уверен в необходимости своей работы.

Он одним удивленным взглядом умел отбить охоту поиронизировать над собой и своим делом, одной улыбкой вселял в любого, готового пустить себе пулю в лоб, веру в жизнь и в то, что все трагедии временны и преходящи. В любых обстоятельствах продолжал работу для великого, светлого будущего Германии, в котором, если быть до конца откровенным, все давно уже разуверились.

Часть первая

Глава 1. Орхидеи и смерть зеленого попугая

Аланд приехал на Висбаденский курорт в 1889 году. Здесь он должен был встретиться с европейским Магистром Ланцем. К масонской ложе, к которой принадлежал Ланц, Аланд не имел отношения и мало что о ней знал, но он был послан сюда, к этому человеку, с конкретными указаниями.

В определённый час за закрытыми дверями Ланц предстал перед Аландом настоящим Магистром. Аланд не без скрытой иронии пережил пару часов с отстранённо серьёзным видом, изображая необходимое почтение, и о своём договорился. За домашним ужином у Ланца они были уже приятелями и держали бокалы с вином на столе.

Аланд сразу обратил внимание на женщину около Ланца. Она была как бы при нём и его гостьей, но Аланд видел, что Ланц над этой женщиной никакой власти не имеет, и никому из присутствующих она не принадлежит.

На адептку, которыми с лихвой был наводнён курорт, она даже не походила, но, тем не менее, она была на закрытом ужине, где не было никого, кроме тех, кто имел статус Посвящённых.

Она вела себя, следуя своим, ей одной известным законам, могла позволить себе ослепительно улыбнуться, рассмеяться, когда ей захочется, и кто бы ни подходил к ней, она удивлённым взглядом мгновенно пресекала общение.

Аланд наблюдал за ней, чувствовал, что и она обратила на него внимание, она перешла к нему за стол, села напротив, положила голову на руки, удивительные руки с перстнями чуть не на всех пальцах, и смотрела прямо на Аланда, слушая, как он молчит. Как ни странно, её поведение нисколько не раздражало Аланда. Она качала своими наведёнными ресницами, смотрела ему в глаза и после долгой паузы в полной тишине одному ему, не вслух, только мыслью, сказала: «Я знаю, что главный здесь не Ланц».

Аланд отвел взгляд. Строго говоря, он не был ни главным, ни не главным, он не имел к этим людям отношения, но о том, что за его ложным смирением стоит что-то еще, знать был не должен никто.

«А что вы ещё знаете?»

«Что вы заинтересованы мною, Аланд, жаль, что пока вы мне разве что совсем немного симпатичны».

«Если мы перейдем ко мне в номер на этот вечер, то я понравлюсь вам больше», – слишком откровенно пообещал ей мысленно Аланд, улыбаясь в глаза. Он знал, что он хорош собой, интересен, и ни одна женщина еще никогда не сказала ему «нет».

«К сожалению, я не знаю, как тебя зовут, но ты точно не Аланд, и ты не захочешь мне этого сказать».

«Это так важно? А как зовут вас?»

«Это так важно? Спросите у любого – и вам солгут, как и мне ответят, что вы Аланд, но я не люблю такую очевидную ложь».

Аланд поднялся, подошёл к Ланцу.

– Кто она такая?

– Матильда? Никто не знает.

– И она здесь?

– Ей невозможно отказать.

– Ты интересуешься ею?

– Без претензий. Тебе она понравилась? Не морочь себе голову, бесполезно.

Это была команда к действию. Аланд вернулся на место, где она дожидалась его.

– Так где же мы с вами увидимся, фрау Матильда?

– Нигде. Вы не угадали. Вы спросили у Ланца, кто я, и он сказал вам то, что обо мне все говорят. Вы не угадали моего имени. Впрочем, можете приезжать ко мне в Ревель, я познакомлю вас с моим мужем.

– Он так интересен?

– Банковский клерк и природный тупица, я даже детей от него не хочу, не люблю тупиц.

– Зачем же он мне?

– Чтобы ты заревновал, мой генерал. Иногда это помогает, но это необязательно. Ланц ведь не друг тебе? Он слишком неинтересен, чтобы быть твоим другом. Здесь принято заглядывать ему в рот и на лету ловить его указания. Для тебя он что-то должен был сделать. Ты утомился ждать, пока он выполнит свои обязательства, тебе скучно, и ты не прочь со мною

развлечься. Я рада, что ты не аскет, я не понимаю курортного аскетизма. Может быть, я бы и согласилась подарить тебе ночь любви, но беда в том, что я и правда не знаю, как тебя зовут.

Аланд про себя улыбнулся, отговорки пустяковые, сломить такое сопротивление можно одним долгим взглядом. Стоило её для помучить или сразу воспользоваться?

И вдруг она дала Аланду такую пощёчину, что к ним обернулись все.

– Кто из нас кого помучает, Аланд, это вопрос, – сказала она тихим, резким шёпотом, а он полагал, что мысли его для нее закрыты. Аланд замер, обдумывая, что ему сделать. Ланц строго смотрел на него:

– У нас не принято вести таких разговоров, Аланд. Вы в святых стенах. Я буду вынужден написать письмо людям, поручившимся за вас, о вашем оскорбительном для нас поведении!

Подобное письмо могло обернуться какой-нибудь случайной гибелью. Внешне Аланд оставался спокоен, чуть усмехнулся, посмотрел ей в глаза. «Молодец, девочка. Так мне и надо. Без обид».

– В том-то и дело, магистр Ланц, что он не желает вести со мной *таких* разговоров. И это кажется мне обидным, – сказала Матильда.

Она подхватила свой ридикюльчик и ускользнула. Аланд понимал, что сейчас она спасла его от серьезных неприятностей.

– Ну, это меняет дело, значит, писем не будет. Так ты ей понравился, Аланд? – Ланц стал снисходителен.

– Здесь таких разговоров вести не принято.

Первое, что стало ему ясно, на курорте он её больше не встретит, её уже нет здесь. Прожив ночь по номеру, он понял, что зовут её Ингрид. И дом, в котором она со своим тупицей живёт в Ревеле, он тоже увидел. Он очень разозлился на себя из-за того, что так долго соображал и что так много думает о ней.

Через два дня, завершив дела с документами, он понял, что поедет в Ревель. Из Висбадена он должен был заехать в Петербург и вернуться в Берлин. И там, и там были дела, и срочные, а он сидит и размышляет об Ингрид-Матильде, о её серых глазах, серой шляпке с вуалью и старомодном, великолепном атласном платье, о котором он бы не сказал, что такое уже не носят, а скорее сказал, что ещё не носят.

В ней был вызов. Даже её крупные перстни – и те были вызовом. Можно было бы обвинить её в безвкусице, но они как раз подчёркивали её удивительный вкус и шли её красивым рукам с пальцами сильными, не нервическими. Аланд готов был стонать от того, что кроме пощёчины ничего от этих пальцев не получил.

А как она ответила Ланцу? Много ли женщин способно публично обвинить себя в том, в чём она обвинила, чтобы спасти его, циника и наглеца.

Она не позирует, она на самом деле, презирает этих «курортных аскетов».

Атласная ткань её серого с сильно приглушённым серебром платья – тоже вызов. Оно так облегало и подчёркивало её прекрасную фигуру, а он не провёл по нему ни разу рукой, только мысленно тысячу раз. У него горела ладонь, как он чувствовал любой изгиб её тела, сколько в этом скольжении руки было бы блаженства и жара, а он остался ни с чем, самодовольный осёл, тупица. «Не люблю тупиц».

Покоя не будет, пока он не отыщет в Ревеле, где и не бывал никогда, свою Ингрид-Матильду, он уже не мог не считать её своей. Женщины давно его не интересовали. Даже имея цель привести в мир своих детей, он никак не мог подвигнуть себя на всю церемонию, связанную с этим вопросом, но тут он сошёл с ума. Ему изменили даже те навыки познания, которыми, как он думал, он давно и прочно овладел. Он в сотый раз задавался вопросом о том, где находится её дом. Обычно ответ незамедлительно являлся ему во всех подробностях, а тут – ничего. Только имя, и только вид её дома.

Ясно, что это Старый город, вероятнее всего, вокруг такие же двухэтажные дома из серого и красного гранита, узкие улочки, уходящие вверх. Но сколько таких улочек и таких домов? Кроме имени Ингрид он ничего о ней не знает. Даже вывеска на соседнем доме – неразборчиво. Правда, в её окне на втором этаже цветут орхидеи, видна клетка с птицей. Ему несколько раз слышался её голос, и повторял он одно и то же: «Представь, Аланд, я думала, это кенарь, а оказалось, что это она. Вчера он отложил яйца и к утру уже одно расклевал». Как наваждение. Тем более, в клетке он видел обыкновенного среднего зелёного попугая, никакого не кенаря-канарейку.

В своей поездке по Европе Аланд мало времени уделял медитации, он слишком давно здесь не был, во всё вникал, всматривался в людей. В поезде он взял себе купе и приказал проводнику до пункта высадки не беспокоить. Что хотели от него эти глаза, причём тут орхидеи и расклевавший своё яйцо зелёный попугай?

В медитации он увидел улыбку Учителя. Аланд и так всё понял, он знал, что найдёт её. Пусть это толкнёт его в странную игру, чем бы это ни кончилось, он не отступится всё равно. Чувство было странным, ни на что не похожим, словно с груди его сняли кожу, мышцы и кости, оставив одно оголенное сердце, и только прислонив к груди Ингрид, он мог закрыть эту рану.

Отправляя Аланда в мир, Учитель ясно сказал ему, что не отвеченным для него остается вопрос о любви к женщине, что он должен привести в мир своих сыновей, воспитать их, став их учителем и отцом, и что его ждет военная карьера.

Он не знал, что способен так полюбить женщину, в несколько минут прирасти к ней настолько, что без нее он теряет под ногами почву, теряет волю, перестает видеть смысл своего последнего прихода в мир. Он смертельно ранен ее уходом, он в отчаянье, которое недостойно адепта тайного знания с трехсотлетним опытом духовных исканий.

Он вышел на Ревельском вокзале, осмотрелся, побродил вокруг и понял, что у него два выхода: отправиться вверх по мощёной дорожке к улицам Вышгорода – и пропасть в полной неизвестности, или спуститься к заливу, остыть и первым же поездом отправиться по делам в Петербург.

К заливу он спустился, побросал гальку, послушал истошные вопли чаек, оглянулся – там, наверху, по дорожкам, уводящим в гости к старому Тоомасу, его ждал зелёный попугай.

Аланд отправился в Старый город, сличая дома с тем, что застыл перед его внутренним взором. Зашёл в лавку, спросил корма для зелёных попугайчиков, что висели в клетке над прилавком.

– Возьмите этот, – сказал хозяин, улыбаясь Аланду от самого сердца. – Госпожа Ингрид брала сегодня, сказала, что её попугай ничего другого не ест. Вообразите, она считала его самцом, а вчера он отложил яйца и к утру уже одно расклевал.

Видя замершее лицо покупателя, хозяин счёл нужным продолжить:

– Вы её дом не отыщете с улицы, все дома стоят в ряд, а её – за моим, во дворе. Он только глухою стеной выходит на улицу. Я очень люблю смотреть, как она по утрам поливает свои орхидеи. В этом году её орхидеи разрослись, как никогда.

Корм странный покупатель не забрал, а радушие и приветливость продавца вознаграждены были немислимо щедрым гонораром.

Она пустила его в дом, словно как раз ожидала его прихода.

– Здравствуй, Ингрид.

– Ты всё-таки угадал, – она так просто обвила его шею руками, словно они расстались любовниками. – А я так и не знаю, как тебя зовут.

– И не надо.

– Как же я буду называть тебя? Мне бы нравилось произносить твоё имя.

- Слишком много их было, чтобы хоть одно признать настоящим.
- Ты любишь менять имена?
- Нет. Я люблю только тебя.
- Я буду звать тебя – мой генерал.

Дом был пуст, он это чувствовал. За спиной у себя повернул в замке ключ. Утопая в её поцелуе, он еще раз увидел улыбку Учителя и резко задёрнул внутренний экран.

Её муж уходил в 7.15 и возвращался в 19.15 изо дня в день, кроме воскресенья. Разу не было, чтобы он ушёл позже или вернулся раньше.

В воскресенье муж её уходил на службу в храм и требовал, чтобы жена его сопровождала, ибо так поступают все приличные люди, потом сидел дома весь день. Ингрид часто сказывалась больной во время воскресной службы или после обеда уходила «прогуляться», Аланд ждал её.

Муж никаких поводов для ревности не давал. Когда Аланд понял, что она беременна, его стало тошнить по утрам, она смеялась над ним и говорила, что он беременный вместо неё. Но тошнота уходила, она не была помехой счастью.

Зато, когда непорочный банковский клерк понял, что в доме его появится через пару месяцев наследник, он иначе как шлюхой (дома) или погибшей женщиной (в присутствии чужих) Ингрид не называл. За это Аланду хотелось его уничтожить, но она не разрешала вмешиваться, только смеялась.

- Ты уедешь, и кому достанется наш маленький Фердинанд?

Он не понимал её слов. Он всё равно или убьёт этого зануду, или просто увезёт её, и стоило давно это сделать. Почему она против? Незадолго до родов умер её кенарь, она смеялась над его сообразительностью, а во время родов умерла она.

Глава 2. Фердинанд Абель

Две недели великий адепт пролежал лицом к стене на диване в своем гостиничном номере, всё в нем замерло и окаменело. И вдруг у него перед глазами встал его крохотный сын, Фердинанд. Аланд очнулся.

Он явился за сыном, и был встречен толпой неизвестных родственников и бурной отповедью тупицы – банкира – Абеля. Аланду высказано было всё: что ребёнок рождён в браке – и принадлежит законному отцу, а не проходимцу. Что как муж он, Абель, отвечает за ошибку своей непутёвой, сбившейся с пути и наказанной Господом жены. Что как благородный человек он даст этому ублюдку достойное образование, сделает из него человека, что он – честный гражданин, и полиция немедленно встанет на защиту его интересов, если господин чёрт-знает-кто не уберётся из этого дома раз и навсегда.

Скандал грозил быть нешуточным, и шансы у Аланда были нулевые. Да и некуда было ему принести грудного младенца, предстояли сплошные дела и разезды, он не был готов к такому повороту событий. Дела, почти на год заброшенные, ждали его. Он уехал, но Фердинанда из внутреннего поля зрения не выпускал.

Фердинанд родился странным младенцем – со слабыми руками, ногами, белый, как полотно, и с большой головой, из чего Абель-отец сделал вывод, что родился ребенок – как и следовало от греха рождённому – идиотом.

Но идиот упорно вертел своей головой, приподнимался на ручки, на ножки, в срок сидел и бегал. К двум годам он уже научился внезапно и дерзко смеяться невпопад.

Фердинанд от матери унаследовал её улыбку, смех и быстрый, насмешливый взгляд. Он мог так ослепительно улыбнуться, что любую нелепость его выходки приходилось принимать как благодать. В его руках была точность её рук, это были руки аристократа, умные, сильные, приспособленные природой к самой тонкой и сложной работе.

Думать то, что полагалось, он, как Ингрид, тоже не умел, мозг его работал в каком-то сверхбыстром, безостановочном анализирующем режиме. И где никто еще не видел смешного – он уже видел, мог для всех внезапно рассмеяться; а мог не улыбнуться там, где смеялись все. Потому что все видели одно, а его мысль привычно забегала вперед. Его не могли понять – и сердился он искренне на медлительность мысли окружающих его людей.

Рос Фердинанд сам по себе, никому не нужный, вопросительно поглядывал на своих и чужих, не понимая своего одиночества. Впрочем, самым «своим» был его «отец» Абель, который откровенно сына презирал. Фердинанд, как дикий зверёк по клетке, целые дни слонялся по дому, избегая встреч с отцом и его экономкой. Странно, что он научился говорить, внутри его монолог не умолкал ни на секунду. Никто не разговаривал с ним, разве что отдавались указания: спать, есть, мыть руки, идти к себе, потому он привык говорить сам с собой.

В отсутствие Абеля-старшего он брал в кабинете отца книги и тащил их в свою комнату, строил из книг дома, пирамиды, высоченные башни и замки. Когда отец с отчаяньем в сотый раз кричал, что книги для этого не предназначены, ломал постройки, наказывал крепким шлепком и уносил вожаделенные тома в свою библиотеку, Фердинанд, раздувая, как паруса, крылья белого носа, подолгу стоял один среди комнаты, пристально смотрел в пустоту, и, постепенно отмирая, бежал и похищал их снова. Синяя жилка билась на правой стороне его лба, он озирался, тащил свою добычу к себе, поспешно складывая то, что было разрушено. Абель-старший, заламывая руки, кричал, что это ребёнок самого дьявола, что в два года не может обычный ребёнок быть так своеволен и упрям. Дрожа от напряжения, Фердинанд старался выдержать ледяной взгляд отца. Когда силы для дерзости не оставалось, Фердинанд садился и с невозможной для ребёнка тоской смотрел перед собой.

Аланд довольно часто наблюдал в своем внутреннем «экране» такие картины и не понимал, зачем Абель оставил при себе мальчишку, которого так ненавидит, и как можно так ненавидеть ребёнка. Однажды он увидел, как трёхлетний Фердинанд карабкается по черепичной крыше, и понял, что отчаянью сына пришёл конец. Он лезет на головокругительную для него высоту островерхой крыши над двухэтажным домом, смотрит то в небо, то вниз, и его сердце стучит от ужаса и восторга. Он видит мощёный тротуар, готов к смертельному прыжку, но смотрит на небеса, ему кажется, что он взлетит и навсегда исчезнет отсюда.

Аланд, в секунду опустошив все свои силы, заставил выскочить из дома ничего не понимающую экономку, на её крики выбежали соседи. Фердинанд обмяк и попятился от края, внизу люди, натянуто одеяло, а с другой стороны крыша спускалась до первого этажа, там не было этой бездны – внутренний двор, мусорный бак... Фердинанд отполз к трубе, лёг, силы оставили его.

Аланд приехал в Ревель, сам нашёл сыну гувернантку, снабдил её авторитетными для Абеля рекомендациями, и велел соглашаться на самое ничтожное жалованье (неважно, что будет платить Абель, за своего сына Аланд платить будет сам, и это будут хорошие деньги), лишь бы клерк согласился. Тот согласился, перепуганный внезапным вниманием соседей к его отношениям с сыном, разговоров вокруг своего честного имени он не любил.

Фердинанд был вял, разбит, вроде не болел, но и на здорового был не похож. На гувернантку смотрел непонимающе, он не привык к тому, чтобы с ним разговаривали, касались его, читали, вели гулять. Он ждал разочарования и подвоха, не дерзил и не радовался. В доме появились детские книжки, игрушки, но отгаивал он долго. На прогулках Аланд позволял себе побродить с маленьким Фердинандом, подержать его на руках, отогреть, заставить улыбнуться. Аланд никогда даже не слыхивал о таком, чтобы трёхлетний ребёнок пытался покончить с собой.

Он сам научил сына читать – много времени это не заняло, и чтение поглотило Фердинанда. Книжки, которые через гувернантку переправлял сыну Аланд, Фердинанд к семи часам

прятал аккуратными стопками к себе под кровать, чтобы Абель не нашел и не отобрал их, и убедить Фердинанда в том, что прятать книги не нужно, было невозможно.

К гувернантке он привык, осторожно улыбался ей, брал за руку, был послушен, но по ночам – его фрау говорила Аланду об этом – Фердинанд часто лежал с широко распахнутыми глазами, о чем-то думал и напряженно смотрел в пустоту.

После Фердинанда через два с лишним года родился Вильгельм, еще через год – Карл, потом Гейнц. С последним, пятым, обстоятельства как-то не складывались – слишком много забот было у Аланда. Он уставал от полного вакуума вокруг себя, но доверительных отношений с кем-либо себе не позволял, в одиночку упрямо воздвигал Корпус и строил свою карьеру.

Постоянно посещать своё раскиданное по разным городам потомство Аланд не мог, но старался всех держать перед внутренним взором. Закрывая глаза, садился и «смотрел», у кого как обстоят дела. В чем-то он мог помочь на расстоянии, но в случаях грубо форс-мажорных обстоятельств срывался и ехал туда, где нужно было его личное вмешательство.

Во время очередного «просмотра» Аланд случайно стал свидетелем «первой лекции» Фердинанда. Старшему сыну Аланда было уже десять, он два года блестяще учился в гимназии, но тут его готовы были из гимназии исключить, а дома убить, и, может быть, исключили бы и убили, если бы не вмешался Аланд. И всё из-за любви к истине – как десятилетний Фердинанд тогда ее понимал.

На уроке естественной истории учитель уныло повествовал о теории эволюции, учении Дарвина, о древних людях и обезьянах. Гимназисты, как в полудрёме, слушали. Фердинанд рисовал на листке горбатого, волосатого андроида и посматривал с весёлой улыбкой на учителя, стараясь андроиду на рисунке придать унылое учительское выражение. Шарж получился на славу, Фердинанд был доволен своей работой.

На слова учителя о том, что древние люди были умнее обезьян, потому что они не просто лазали по пальмам за бананами и кокосами, а взяли в руки палку и сбивали кокосы и бананы палкой, то есть создали первое орудие труда, Фердинанд улыбнулся и не возразить не смог.

– Они что – дураки? – как сам с собой заговорил он вслух, пожимая плечами. Он уже видел картину, рисуемую учителем, во всех подробностях – и это было смешно. – Так получается, что обезьяны были, конечно, умнее.

Учитель смолк, товарищи давились смехом, а Фердинанд, понимая, что теперь он вынужден объясниться, поспешил воздать дань научной справедливости. Он уважительно поднялся и заговорил:

– Посудите сами, господин учитель! Кокосы растут на пальмах. Высота плодоносящих кокосовых пальм достигает 60 м. Можно взять, конечно, и минимальную высоту, когда возможно плодоношение этих кустарников, то есть 20-25 метров, но какая же палка нужна, чтоб сбить плод, который растёт не внизу, а исключительно наверху пальмы. А если допустить, что растения в древние времена были выше, а древние люди – с ваших же слов – в росте не превышали 120-140 см (виноват, не люди, конечно, – андроиды), то, простите, каким образом этому карлику, во-первых, изготовить такую палку без орудий труда? Да ему придётся не одну жизнь потратить, чтоб из этой же кокосовой пальмы в два метра диаметром выточить голыми руками подъёмный для него шест. Во-вторых, как ему совладать с этим шестом? В-третьих, как передвигаться с этим орудием труда, даже если допустить, что в цепи многочисленных воплощений он его своими недоразвитыми ладонями выточил с Божьей помощью? Если это тропики, то он и с двухметровой палкой не пройдёт сквозь заросли. Он сто раз запутается в лианах. А если это пустыня – и он мчит от оазиса к оазису – то разве что волоком и всем стадом они дотащат этот

гигантский шест, после чего у них всё равно уже не останется сил водрузить его на рекордную высоту, даже если они очень захотят кокоса.

В тропическом климате пальмы были увиты лианами, и маргышки поэтому свободно добывали себе, что хотели. Но стоянка андроидов не наестся одним и даже пятью кокосами, им не стоило так и мучиться, и я думаю, что голодному племени было бы куда разумнее отрядить самого ловкого, молодого и вкусного, чтобы он попробовал, как маргышка, взлететь по лианам. В крайнем случае, сорвавшись с лиан (при своих коротких задних конечностях и массивном теле – это практически неизбежно), он стал бы куда более сытным обедом для соплеменников, чем постылый кокос.

Учитель наливался краской, как молниеносно вызревающий помидор. Одноклассники тупо гоготали, считая, что тихоня Абель сегодня «выделяется». То есть ни учитель, ни класс не поняли настоящих намерений Фердинанда объяснить свою точку зрения. Глаза учителя наливались стекляннным блеском – ничего доброго это не сулило, и Фердинанд, понимая, что его любовь к истине, похоже, ничем хорошим для него не закончится, спешил договорить, пока его не перебили.

– Бананы – что, как вам известно, вообще не дерево и не кустарник, а трава в 6-10 м высотой (это подтверждает, что наши далёкие карлики-предки бегали среди такой травки и задирали головы к кустикам 60-метровых кокосовых пальм) – добыть было немного легче. Но и 10-метровая палка – очень неудобна для переноски и размахивания ею. Проще поупражняться в лазании или метании. Думаю, что лазанье по лианам больше бы сделало для совершенствования тел наших предков. Два-три сантиметра толщины – это приличный канат. По нему на высоту 6-10 метров вполне реально забраться и остаться живым после этого.

А если говорить о добыче плодов с помощью палки, то надо говорить не о кокосах – бананах, а о низких плодовых деревьях, кустарниках.

Класс хохотал, учитель синел от гнева. А главное, что он взял с парты рисунок Фердинанда, изображение андроида, удивительно смахивающее на портрет самого учителя естественной истории, и не сказал, а прошипел Абелию прямо в лицо:

– Это – что??

– Андроид, – тихо ответил Фердинанд. – Человекоподобная обезьяна.

Класс хохотал – учитель размахивал своим портретом.

В гимназии не злоупотребляли телесными наказаниями, но тут в перерыве в коридоре установили скамью, розги мигом нашлись, согнали всю школу. Фердинанд, вдруг осознав, что с ним хотят сделать, огромными глазами смотрел на взрослых и не мог понять, что происходит и почему. Не слыша его отчаянного шепота, его привязали к позорной скамье, и сторож гимназии основательно выполнил просьбу господина директора. Фердинанд напрягался всем телом – не кричал, не давал себе вздрагивать от ударов, он превратился в камень. К концу экзекуции он вдруг обмяк, всем показалось, что он лишился чувств или умер. Его трясли, поднимали, хлопали по щекам, он не сразу открыл глаза, долго переводил взгляд с одного на другого, и, кажется, не вполне понимал, где он, и что с ним случилось.

Кое-как он дошел до стены, взгляд его не задерживался ни на ком. Потом он все вспомнил, ушел, забился в дальний угол подвала, соображая, как прекратить всё это, его отыскивали и поволокли в учительскую.

За столами важно восседали учителя – и те, что учили, и те, что не учили его. Те, кому он симпатизировал, и которые, как он наивно думал, симпатизировали ему. Все они высказались за исключение Абелия из гимназии, это необъяснимое предательство взрослых потрясло Фердинанда сильнее, чем порка. Он молчал, смотрел в свою пустоту, на учителей он больше

смотреть не хотел. Предатели, смотрят в рот «герру директору» и его другу-андроиду. Какое редкостное единодушие. Раскаянья от него не добились.

О том, что ожидает его дома, он и думать не хотел. Отец, свихнувшийся на своей «добропорядочности», исключения сына из гимназии за дерзость учителю не простит никогда. Никому ничего не докажешь.

После невыносимого унижения и предательства тех, кого он считал учителями, а, следовательно, высшими существами, не стоило и жить на этом странном свете. Предстояло идти домой, чтобы его еще раз унизили, сообщили, что он исчадь ада, в этом ничего нового, так он и будет исчадьем ада.

Абель дерзко прищурился и пошел ва-банк.

– Сами ничего не знаете, – совершенно неожиданно для всех, спокойно сказал он. – Я что, должен зазубривать всю галиматью, что вы несёте? Никакой головы не хватит. Я же не виноват, что вы сами думать не умеете и не хотите учиться. Буду страшно рад уйти и никогда больше сюда не приходите. Поцелуйте вашего дорогого андроида, господин директор вас за это похвалит.

В учительской стало тихо, как до сотворения мира. Все смотрели на Фердинанда. Его никто не отпускал, но он пошел к дверям, заклиная тело оказать ему последнюю услугу – пройти до дверей и не упасть. Всё в нем уже было мертво, и непонятно, как тело служило ему средством передвижения. Учитель естественной истории схватил его за плечо, Фердинанд брезгливо передернул плечами, сбросил ненавистную руку и сказал опять очень спокойно и внятно:

– Лапы убери, андроид, – эта фраза, грубая и вульгарная, словно и сказана была не интеллигентным мальчиком Абелем. – Лучше еще раз покажи коллегам свой портрет, я тебе его оставляю на память.

Кто-то из учителей почувствовал недоброе, это уже не дерзость, а перешедшее все границы отчаянье. Что Абель натворит сейчас? Его опять поручили сторожу-дворнику, и Фердинанд был доставлен домой под надзор экономки, которой было приказано тщательно его сторожить.

Фердинанд повалился ничком на постель, забылся в полубеспамятстве: все слышал, чувствовал и не мог пошевелиться, даже мысль остановилась в нем, то есть он как бы умер.

Абель-старший, явившийся первый раз в жизни с работы раньше, не говорил, а клеко-тал от гнева, как птица, которой насильственно вытянули шею и превратили из воробья в серую болотную цаплю. В банк сообщили о случившемся, и, разумеется, это был «неслыханный позор». Фердинанд отсутствующим взором смотрел на бесновавшегося отца, не возражал, не оправдывался, всё бесполезно. Голову сжало горячим обручем, перед глазами расходились какие-то дивные сияния – это был уже другой мир, куда он молча уходил, и ушел бы незаметно для окружающих и себя самого, если б отец вдруг не схватил его за шею и не швырнул на постель, чтобы выдрать еще раз. Фердинанд до постели не долетел, ударился виском о деревянную стойку кровати. Тело как лишилось контроля, выгнулось, пару раз вздрогнуло – и всё померкло.

На второй день после случившегося в кабинет директора гимназии без доклада и стука вошел человек, от одного вида которого у директора нехорошо повело в животе. Важный господин, в дорогом костюме, с ироничной насмешкой в острых, пронизательных глазах вошел уверенно, чуть кивнул, сел перед директором в кресло и благосклонно позволил подскочившему директору «тоже сесть». Он заговорил про Фердинанда – спокойно, рассудительно, и вроде бы ничего особенного не сказал, но, странным образом, к концу разговора «герр директор» не то что понимал, он прочувствовал всем своим педагогическим сердцем, как любит этого незадачливого отличника, мученика истины, который, дерзил исключительно от страха

и полной беззащитности перед волею взрослых. Исключать десятилетнего мальчишку, у которого все два года учебы – только высшие баллы за то, что он пытался отстоять свою, пусть наивную, точку зрения, заметьте, аргументировано, как уж сумел. Рисунок? Да, возможно, дерзость, но как нарисовано? Андроид выполнен великолепно, а сходство с физиономией учителя фотографическое. Может, нужно было занять этого естествоиспытателя написанием научной работы? Может, ему скучно было на уроке? Пусть учится добывать знания сам, прославляет школу, учителей – и увидите, он перестанет хулиганить на уроках, даже если его выступление счесть хулиганством.

Пришедший в кабинет директора человек остался инкогнито, сказал, что он здесь проездом, но подарил школе такую сумму как меценат и покровитель образования, что если бы он не только сказал директору оставить в гимназии мальчика, а даже велел его при жизни канонизировать, директор бы не посмел отказать.

Директор с поклонами проводил странного незнакомца, но подумал, что этот тихоня-Абель не так-то прост. Чек хрустел в кармане, и сердце, как свеча, оплывало от умиления и любви к непонятому, умному ребенку.

Состоялся ещё один срочный педсовет, где все вдруг решили, что удивительных способностей, замечательно учившийся мальчик – да ещё и сурово наказанный за дерзость – не должен быть исключён. Мысль загрузить Фердинанда написанием научной работы показалась вдруг всем без исключения, такой их, такой родной, такой педагогически тонкой, верной и мудрой, что все единодушно сошлись на этом. Новых педагогических открытий Фердинанд не слышал, его не было в школе.

Вторая порка по понятным причинам не состоялась. Абель-старший испугался, что нечаянно убил сына, и что за это он может быть подвергнут всеобщему осуждению. Доктору он не сказал, что толкнул сына, падение произошло случайно. Доктор развел руками, на виске поверхностный синяк, ссадинка, никаких мозговых симптомов он не видит. Странно, что мальчик все еще без сознания, но обморок вообще случился по другой причине, например, от переживаний, и ударился мальчик, скорее всего, падая в обморок. Для Абеля-старшего эти объяснения легли бальзамом на душу. Через пару часов Фердинанд очнулся, долго лежал как оглушенный, шурился, пытался понять, что опять с ним случилось. И то, что отец за руку отвел его и закрыл в подвале, не вызвало у него никаких эмоций, ему было все равно, даже если б его бросили в огонь или утопили в проруби.

В подвале он замер, соображая, где он и кто он такой. Сесть было проблематично, поэтому он стоял и ходил. Очень хотелось лечь: в голове шипело, словно лили воду на раскаленную плиту, его шатало, даже когда он пытался прислониться к холодной стене. Лежать было холодно, пол ледяной. На улице зима, подвал немного пропитан теплом дома, но специально не отапливается, долго тут не продержишься.

Душа его устала так, словно сегодня он прожил тысячу лет, и конца не предвидится.

Постепенно ему вспоминалось все, что с ним произошло, слезы невольно подбирались к глазам, никогда еще так остро он не чувствовал своего одиночества – не в этом подвале, а на целом свете. Фердинанд все-таки лег ничком на холодные камни, поплакать так и не получалось. Мысли ползли вялой, серой вереницей, как низкие декабрьские беспросветные облака. Тело его, давно оцепеневшее от холода, зачем-то дышало. Время остановилось, он и сам усомнился – был ли он вообще на белом свете. Никто его не хватится, он никому не нужен. И всё равно он не понимает, что такого он натворил, что с ним расправились как с преступником.

«...А из этого подвала могла бы получиться славная лаборатория», – проползло вдруг в мозгу, словно кто-то нашептал ему эту мысль, и мысль, его собственная, ожила и включилась в нём. Призрак улыбки забродил по лицу. Он еще в потёмках стал бродить по подвалу, стал

выщупывать стены, нашел доски, сложил из них щит и улёгся. Днём из низкого узкого окна свет немного проникал сюда. Главное, мысль заработала, следовательно, он воскрес.

Он выпросил у экономки, которая принесла ему утром стакан воды и кусок хлеба, свой химический карандаш и лист бумаги. Она долго отказывалась, но он умолял её, предлагал ей забрать все его деньги из копилки, он ведь просил-то всего-навсего карандаш и бумагу – это ведь не запрещено. Что там сработало, вряд ли жадность, скорее, жалость к больному, заходящемуся в кашле, лихорадящему, наказанному уродцу, но экономка сдалась и принесла карандаш, бумагу, старое пальто Фердинанда, несколько бутербродов и стакан горячего чая. На пальто, бутерброды и чай Фердинанд посмотрел отчужденно, заморгал, словно в глаз ему что-то попало, и быстрой скороговоркой сказал:

– Спасибо, это не нужно, вас за это накажут. Унесите, пока этот не вернулся. Я не голоден, мне не холодно, мне не нужно!

Фердинанд лежал и чертил план своей лаборатории. Тело сотрясалось в ознобе, а голове было блаженно-жарко. Аланду пришлось послать в дом полицейского, чтобы «выяснить», куда подевался мальчик. Куда бы он ни подевался, никто не должен был спрашивать Абея, но законопослушный клерк от одного вида полицейского на пороге перепугался, сказал, что мальчик у тётки и вечером придёт, и поспешно освободил еле живого узника.

Только теперь Фердинанд понял, до чего ему плохо. Он дошёл до постели, спрятал под матрас свои чертежи и не слыша окриков отца, немедленно идти отмыться от подвальной пыли, лёг и уснул.

Фердинанд быстро поправился, ему нужно было работать. Известие о том, что в гимназии его восстановили, очень огорчило его, вот уж куда ему не хотелось возвращаться. В школе он ни с кем не разговаривал, писал на «отлично» контрольные, сухо пересказывал учебники, если его спрашивали, и после ненавистных уроков торопился домой. Пока нет отца, он мог спокойно посидеть в своём подвале.

Он сколотил себе стол, табурет, полку, перетащил сюда свои любимые книги. В толстой тетрадке он расписывал техники и методики будущих экспериментов, химические формулы, составлял перечни реактивов. Вопрос был в том, где взять денег, колбы с пробирками, не говоря о выпаривателях, штативах, жаровнях и микроскопе стоили дорого.

В этом Аланд пока не спешил ему помочь, зная, чем закончится история с лабораторией. Сейчас она помогала Фердинанду вновь обрести себя: он бегал рассыльным, писал заметки под чужим именем о занимательных научных фактах в газетах, он был счастлив – он создавал свою лабораторию. Немного денег он скопил, и первая же покупка: колбы, спиртовка и набор реагентов привела к разгрому его лаборатории.

Фердинанд, всегда следивший за часами, на этот раз о времени забыл. Отец застал его над спиртовкой с бурлящей химической реакцией в колбе. Подвал был заперт, оборудование разбито, выброшено, химик побит и обозван всеми непристойными словами, которые знал добропорядочный служащий банка. Фердинанд хладнокровно решил, что из дома сбежит, и сбежал бы, если бы на другой день в книжной лавке, куда он часто заходил посмотреть новинки, с ним не заговорил незнакомый человек. Они обсудили несколько книг, познакомились, и Фердинанд получил приглашение посмотреть личную библиотеку нового знакомого. Это был настоящий учёный, не химик, скорее, анатом и врач. Фердинанд погрузился в изучение строения человеческих тканей, тела, болезней. И главное, засел за написание работы, которая через два года принесла ему золотую медаль на имперском конкурсе.

Фердинанд получил право поступления в университет без экзаменов – на выбор: Тартуский, Петербургский, Московский, он не колебался – выбрал Петербург. Ему позволили отчитаться экстерном за последние классы, и он завершил свое ревельское образование чередой блестяще сданных выпускных экзаменов. В поезде, по пути в Петербург, и состоялось знакомство Фердинанда с Аландом.

Глава 3. Вильгельм Кох

С тех пор как отец сломал ногу, уже три месяца, математику в гимназии преподавал господин Шульце. Он был не такой хороший математик, как отец, но к Вильгельму Коху относился, дружески, не забывал специально для Коха принести на урок усложненные задания. Кох любил любого человека, который учил его чему-либо, благодарен был любому учителю, это был его внутренний культ.

Шульце вошел в класс с сияющим лицом, потрясая красивой гербовой бумагой.

– Господа, – обратился он к ученикам, – сегодня я разрешаю вам пошуметь. Вильгельм, подойди ко мне.

Кох подошел, потому что учитель сказал это сделать, но ему стало тревожно.

Шульце приобнял Коха за плечи, выставляя его перед всем классом, и самым торжественным голосом повел речь о том, что господин Кох-младший, наш дорогой Вильгельм, прославил школу. Что школа! Он принес славу всему нашему тихому городу! Потому что такого тут еще не бывало: проектная работа господина Коха по воздухоплаванию – удостоена золотой медали в Берлине, на конкурсе вовсе не ученическом, что или затерявшееся уведомление, или болезнь отца, но что-то не позволило Вильгельму попасть в Берлин на торжественное вручение награды. К счастью, повторное извещение донесли до школы, и что он, Шульце, ждет заслуженной овации для Вильгельма Коха. Овации не было, по классу прокатился нехороший гул, у Коха медленно темнело в глазах.

О конкурсе он прочитал осенью в журнале, сложил в папку свои чертежи, отнес на почту и без сопроводительного письма, с одним обратным адресом на конверте, отправил их на рассмотрение специалистам. С месяц подождал ответа, решил, что его фантазии никого не интересуют, и забыл.

После рождества пришло письмо. Хорошо, что Кох встретил почтальона по пути из школы, и письмо попало ему прямо в руки, минуя почтовый ящик. Кох закрылся у себя в комнате, вскрыл конверт и с удивлением обнаружил вместо рецензии приглашение для участия в церемонии награждения победителей. Он написал, что, он ученик гимназии, не сможет приехать в Берлин, потому что ни временем, ни средствами для таких перемещений не располагает. Отправил ответ и вскоре получил извещение о том, что его рукопись размещена в журнале «Воздухоплавание», и вопрос, куда следует господину Коху перечислить гонорар. Он написал, что если бы ему вместо гонорара прислали любой другой номер «Воздухоплавания», он был бы благодарен редакции, и послал новые чертежи и расчеты. Вскоре он получил несколько бандеролей – не только с полной подпиской «Воздухоплавания» за два года, но и новыми справочниками по дирижабле– и самолетостроению.

С тех пор, как у Вильгельма появилась своя комната, ему никто не мешал сидеть до рассвета. Отец был уверен, что сын прилежно занимается математикой и готовится к поступлению в университет. Он ничего не знал об увлечении сына самолетостроением и его интересе к инженерному делу. Вильгельм не первый год экономил на всем, но купил себе чертежную доску, готовальню. Утром он чертежи расстилал под матрасом, журналы складывал в пакет и убирал под кровать. Журналы были дорогие, если б не щедрые дары редакции, он не купил бы и пары штук за год. Справочники просто цены не имели и были зачитаны Кохом и разучены вряд ли не наизусть.

Стоило ему закрыть глаза, он видел обтекаемые, сверкающие, из легкой стали фюзеляжи самолетов, а не убогих деревянных корявых уродцев, которые считались самолетами, на которых отважные парни пытались подняться в небо и бились сотнями во всем мире. Голова его кипела идеями, он видел эти еще не существующие машины, ощущал телом трепет их корпусов в полете, засыпал – как проваливался, ложась в головокружительно высоком полете на крыло своего еще не созданного самолета. Он рисовал модели винтов, крыла самолета. Он чертил

двигатели, рассчитывал мощности, и жил в не покидающем его ни на миг вдохновении. Он даже подумывал, не признаться ли отцу в своем увлечении, чтобы тот отпустил его если не в авиацию, то хотя бы на инженерный факультет, но тут отец сломал ногу, стал раздражителен оттого, что гимназию, которую он столько лет возглавлял, ему пришлось переложить на плечи его друга и коллеги Шульце. Вильгельм понимал, что сейчас не лучшее время для разговора на такую тему, тем более, что до окончания гимназии оставался целый год.

Отец много занимался с Кохом, математика давалась ему легко, он знал её как само собой разумеющееся. Только чистая математика не занимала его так, как самолеты, как аэродинамика, геометрия крыла, химические составы топлива, легкие сплавы. Гимназический курс для Вильгельма не представлял откровения, на уроках он присутствовал, отвечал, когда спрашивали, решал контрольные работы, но на коленях у него всегда лежала его сокровенная тетрадь, в которой он делал наброски и производил расчеты.

Весть о золотой награде, конечно, приятна, но отец такой скрытности не поймет и обидится, он нервничает из-за всего по пустякам. Ему мерещится, что нога его загниет, что у него вот-вот начнется гангрена, что кости его срослись неверно или не срослись вовсе, что он не вернется в директора, и его семья будет бедствовать. Вильгельм был старшим, он знал то, что младшие дети в семье не знали. Чем протирать штаны в гимназии, Кох сам давно пошел бы работать, но отец слышать об этом не хотел. Вильгельм самый одаренный в семье, только математическое отделение университета – словно нужно оно было Коху. Отец впал в манию экономии, младшие этого не понимали. Кох думал, как он объяснит отцу участие в конкурсе, наличие дорогих журналов, чертежных инструментов, справочников, саму свою тайну от отца, который столько занимался его обучением, всегда был так терпелив и лоялен к нему. Понимал, что приятным этот разговор не будет, никакая медаль не уничтожает факта, что он от отца скрывал свои подлинные интересы, изображая послушного сына-отличника без пяти минут студента математического отделения, преданно и благодарно идущего по стопам отца.

Шульце пытался подогреть энтузиазм класса, но класс гудел, переговариваясь, и тут закадычный враг и соперник Коха, вечный второй ученик класса, Густав Шлейхель громогласно объявил, что уж ясное дело, не сам Кох выполнил эту работу, что это господин директор, наверное, дома от скуки начертил какой-то проект, а приписал своему дорогому сыночку. Всем известно, что господин директор – благородный человек, всю жизнь пытается сделать вид, что Кох его родной сын, все знают, что контрольные папа прорешивает со своим отличником накануне, потому у Вильгельма Коха только самые высшие баллы. Все знают, что Кох – приبلудный, что его принесли в подоле, и он сам это знает, и вы это знаете, господин Шульце, весь город про это говорит.

– Не трогай мою мать и моего отца, – сказал Кох, его окатило волною гнева.

– Скажи, что это не так, – в лицо улыбался Шлейхель.

Класс одобрительно гудел не в поддержку Коха, а в поддержку Шлейхеля. Шульце растерялся. Он, конечно, знал одну из любимых тем всех городских сплетников, он не нашел, что сказать. Кох подошел к Густаву и, не говоря ни слова, ударил его в лицо прочно сложенным кулаком, вышел из класса, понимая, что сейчас ему вдогонку выскочит не только Шлейхель, но и его телохранители. Кох, младше всех в классе, против компании Шлейхеля выстоять шансов не имеет. Самое лучшее, что можно сделать – отойти за школу, чтобы не оказаться перед глазами у всех побитым.

За ним вышли следом, прижали к стене и били молча, держали за руки, не давая упасть, и всаживали кулак за кулаком в грудь, в живот, когда он уже просто болтался у них на руках, бросили на землю, добавили ногами и, убедившись, что Кох встать не может, с чувством выполненного долга вернулись в класс. Учителю Шульце они объявили, что Кох сбежал, что его не нашли, и что это лишний раз доказывает, что никакого отношения к золотой медали Вильгельм Кох не имеет, а вот господину директору – виват! И класс разразился овацией.

Шульце тревожился за Коха. То, что Вильгельм мог подойти и разбить кому-то лицо, было для учителя Шульце полной неожиданностью. Кох – странный мальчик, вечно молчит, улыбается отстраненно. Может на уроке так задуматься, что его пять раз окликнешь, прежде чем он повернет голову. На директорскую семью, белокурую, голубоглазую, круглолицую, где все как пересняты под копирку – темноволосый, длиннолицый, сероглазый Кох не похож ни единой чертой.

Шлейхель, в общем-то, сказал то, что все говорили. Мог бы, конечно, не повторять этого сейчас. Золотая медаль на имперском конкурсе – событие, о нем напишут в местной газете – интересно, что? Без намеков не обойдутся. Но в Берлине о нем написали удивительную хвалебную статью, ее Шульце припас для Коха-старшего, рассчитывая вечером у него посидеть с бутылкой хорошего вина. Сам Шульце выпил бы пива, только директор Кох считает мещанством употребление этого истинно немецкого напитка, но вино так вино. Может, Кох-старший очнется от своей непроходимой хандры и поправится после такого успеха сына. Премия большая, надо предложить другу отправиться с семьей на курорт, ногу подлечит, сам успокоится и хоть раз в жизни просто отдохнет.

Вильгельм смутно слышал, как звенели звонки, внутри все болело и не давало пошелохнуться. Он переживал, умоляя каких-то небесных заступников, хоть немного унять кошмар внутри тела. Хорошо, что апрель холодный, погода отвратительная, сырая, с ледяным ветром, ученики не выходили на переменах на улицу. Нужно было вернуться в школу, забрать портфель и уйти домой.

Что он скажет отцу? Костюм не порвали, но в грязи он вывалился, отец будет в ужасе от его вида. Хорошо, если Шульце не догадается рассказать, как Кох среди урока разбил рожу Шлейхелю, отцу не скажешь, за что Кох её разбил, и Шульце не скажет, лучше бы и вовсе промолчал.

Кох никогда ни с кем не дрался и его никто не бил, ему никогда ещё не было так плохо и больно. Царапая о кирпич руки, он поднялся, чуть задрал рубаху, даже на животе огромные лиловые кровоподтеки, их скроет одежда. Спасибо, не на лице у него такое. Кох отошел в рощу за школой, лег у дерева, вернуться в школу он еще не мог, его тошнило, словно ему набили живот камнями.

Он слышал, что отец его взял жену «с приданым», но мало ли что люди болтают. Отец говорил, что с матерью они дружили с детства. Кох был достаточно взрослым человеком, чтобы отца не осуждать. То, что он не похож ни на кого в семье, бывает. Мало ли в какого он деда или прадеда уродился. Родители его любили, он тоже любил их, отец ни с кем в семье так не возился, как с ним, разрешал сидеть у себя в кабинете, брать книги, никогда не ругал, не наказывал, и Кох больше всего на свете боялся огорчить, расстроить отца даже малейшим проступком. У Коха были две младших сестры и брат, на отца и на мать очень похожие, веселые, шумные, как мать, добрые, они очень любили Коха, и Кох их любил, но его тянуло побыть одному, в тишине побродить, подумать. В голове его столько всего происходило, что внешние увеселения были невыносимы. Это не мешало ему любоваться непосредственной радостью жизни других членов семьи. Для Коха было недоступно одно, для них – другое, все у них дома было хорошо. Родители не обсуждали городских сплетен, они были выше этого. Отец выделил Вильгельму собственную комнату, она была под чердаком, рядом с лестницей, маленькая, но своя. Отец оберегал любовь старшего сына к размышлению, словно предоставлял ему убежище от домашнего шума. Остальные дети блестящих способностей господина директора не унаследовали, не то что математика, а вид любой книги навевал на них непроходимую тоску. Вся надежда была на Вильгельма.

Кох еще два года назад попытался отцу заикнуться об инженерной профессии, но отец категорически заявил, что инженер – это плебейская профессия, и что бегать по участкам и чертить схемы расположения канализационных труб – дело, конечно, необходимое, но для

него не нужно такое дарование, каким природа наделила Коха. Сам он мечтал посвятить жизнь чистой математике, а вынужден вдавливать в головы тупых учеников математические формулы, и он-то знает, что значит заниматься всю жизнь не своим делом. Своему сыну он даст возможность сделать то, чего сам не сделал, так как вынужден был прежде всего думать о благосостоянии своей семьи. Кох помалкивал, чтобы не огорчить отца своей приверженностью плебейской профессии. На конкурс он послал работы только потому, что устал вариться в своих идеях, как в собственном соку, ни на какое признание он не рассчитывал, надеялся, что ему укажут на самые грубые его ошибки, чтобы он как-то их учел, обнаружил, ведь обсуждать свои идеи ему не с кем.

Кох знал, что отец не щадит себя за работой: видел отца за конспектами, расчетами, помогал отцу проверять тетради, составлять проверочные работы. Вильгельм боялся порвать штанину, не признавался, что ему тесны ботинки, прятал любые деньги, что давались ему на личные нужды, и, уж конечно, он ничего не просил для себя. Его тяготило то, что в пятнадцать лет он сидит у отца на шее.

Теперь наружу выплывет все.

Никакой успех Коха не радовал потому, что он не знает, как объяснить отцу свою скрытность. Сегодня он весь в грязи, неизвестно, удастся ли скрыть инцидент случившийся в школе. Триумфатор. Отец сочтет его неблагодарным, заносчивым – на такой конкурс посылать работы и не то, что не показать их отцу, а даже в известность отца не поставить. Скажет, что «конечно, Вильгельм считает себя умнее отца», всё не так, но не объяснишь никому.

Когда уроки закончились, и ученики разошлись по домам, Вильгельм вернулся в школу, забрал портфель, почистил костюм. Шульце встретил его у выхода и протянул проклятую медаль в красивой коробочке, а диплом и самое главное обещал занести вечером сам.

– Ты испачкал костюм? Упал? Вильгельм, ты не здоров? Ты потрясен таким успехом? Признайся.

– Господин Шульце, не говорите отцу, я вас прошу. Он не знает, он обидится, что я не сказал ему.

– Он будет гордиться тобой. К тому же, Вильгельм, это большие деньги, сейчас для вашей семьи это очень кстати. Если б ты знал, что написали в берлинской газете о тебе и твоих проектах... Вильгельм, не бери в голову, кто бы и что ни говорил, эти люди будут гордиться тем, что учились рядом с тобой.

– Господин Шульце, хотя бы сегодня не говорите отцу. Я плохо себя чувствую, я не смогу сейчас пережить разбирательств.

– Вильгельм, что ты говоришь? Ты, в самом деле, не совсем здоров. Эта драка на уроке!.. Это так странно...

– Драка? – Кох усмехнулся. – Не было драки. Просто этот подонок оскорбил публично моих родителей, которых я люблю и уважаю, и я не мог этого ему простить.

Это тоже было незнакомо в Кохе – усмешка, возражение, тон, граничащий с дерзостью.

– Иди домой, Вильгельм, ты плохо выглядишь. Может, тебя проводить?

– Нет, спасибо, господин Шульце, у меня немного болит голова.

Отец вышел в коридор на костылях, долгим взглядом осматривал замаранный костюм сына.

– В лужу, что ли сел? – спросил он с незнакомым холодом в голосе.

– Да, папа, я упал. Я отмою.

– Почему тебя не было так долго? Занятия закончились два часа назад. Я должен всерьез поговорить с тобой. Переоденься и спустись в гостиную, мы все тебя ждем.

Кох заглянул в комнату. Мать и сестры с братом. Семейный совет? Уже узнали?

– В школе у тебя все хорошо?

- Да.
- Сам ничего не хочешь мне рассказать?
- Ты про что, папа?
- Мы ждём тебя в гостиной, поторопись.

Кох вошел в свою комнату и все понял. Из-под кровати вынуты все его книги, на кровати валяются его чертежи, доска, готовальня. И самый страшный секрет Коха – его спрятанная-перепрятанная флейта, простая, дешевая, купленная у уличного мелочника-торговца. Всё наружу.

«Почему же все именно сегодня?»

Кох медленно сел на край постели, скрыл в ладонях лицо. Его затошнило еще сильнее, он хотел лечь и умереть самой внезапной смертью, потому что у него нет сил объясняться, у него вообще нет сил.

Снять с себя пиджак он смог, а рубашка на боках накрепко прилипла от крови – отдерешь, хлынет по новой. Кох снова натянул пиджак и пошел вниз, держась за перила двумя руками. Вошел, посмотрел на отца – тот даже не предлагает сесть, он расстроен, огорчен, рассержен. Он не любит, когда лгут.

– Мама прибирала в твоей комнате, – начал отец голосом убийственно спокойным. (Кох всегда убирал в своей комнате сам. Беспорядка у него не бывало. Это был обыск).

– Мы обнаружили много странных, непонятно откуда у тебя взывшихся вещей. Объясни, где ты все это взял.

– Прости, папа.

– Это не ответ. Вильгельм, это дорогие специальные журналы, их много, это колоссальные суммы – откуда они у тебя? Я не говорю о странном инструменте – это-то тебе зачем? Ты играешь на флейте? Не замечал, это уже сродни безумию, сродни болезни, Вильгельм.

Кох молчал.

– Я в чем-то отказывал тебе? У тебя есть повод не доверять мне?

– Нет, папа.

– Повторяю вопрос, откуда ты брал деньги? Я грешил на своих детей, полагая, что это они по легкомыслию, не понимая тяжести семейного положения, таскают деньги из шкатулки на свои глупости и развлечения, я думал на них, но на тебя – никогда.

– Я не брал, папа. Что значит на своих?..

– Я жду ответов, а не вопросов. Ты не брал? А где ты их брал? Ты вор? Я пригрел в своем доме вора и доверял ему больше, чем своим детям? Мне стыдно перед моими детьми. Я прошу у них прощения за то, что оказывал тебе предпочтение.

– Папа?.. Почему ты так говоришь?.. Почему – твои дети? А я?..

– Ты не мой сын. Я взял Марту замуж, потому что любил ее с детства, но в жизни бывают разные нюансы, я умею прощать людям их слабости. Я скрыл ее грех до свадьбы, признал тебя своим сыном, я делал для тебя больше, чем для своих детей, но ты таился, прятался, ты никому не доверял. Теперь я узнаю, что ты еще и вор. Я надеялся, что ты сумеешь найти объяснения своим приобретениям, своим поступкам, но объяснений нет, их и не может быть.

– Папа... папочка... Я не брал!.. Я никогда ничего у вас не брал. Я просто копил все, что вы мне в разное время давали... Папа, я прошу, только не говори этих ужасных слов! Я же так люблю тебя. Я вас всех так люблю... Почему я не ваш?..

– Не брал у нас, значит, брал у других, таких денег тебе никто не давал, Вильгельм, выходит еще хуже. Я вынужден всерьез разобраться в том, что происходит, не хватало, чтобы ты замарал честь нашего дома. Выворачивай на стол карманы или я сам подвергну тебя этой унижительной процедуре.

Кох попятился от отца, подбирающего костыли и встающего из кресла. Мать молчала, сестры и брат во все глаза смотрели на Вильгельма и молчали тоже.

Если бы отец раскричался на него, даже ударил, это было бы лучше, чем слышать его отчужденный, ледяной голос. Отец подошел, перехватил костыли, вывернул карманы пиджака Вильгельма. Будь она проклята эта золотая медаль, которая вывалилась из коробки и покати-лась по полу. Брат поднял её и протянул отцу.

– Это – что?? – загремел вдруг отец.

Коха затрясло, он перестал видеть и слышал одно уханье в голове.

– Я спрашиваю, у кого ты это взял?? Ты хоть понимаешь, что это такое?!

Кох ухватился за стол, чувствуя, что сам уже не может устоять на ногах.

– Я считал тебя сыном, но сын проходимца – он и есть проходимец! У кого ты это украл, негодяй?

Пощечина уже ничего не добавляла, она только нарушила равновесие, Вильгельм схва-тился не за лицо, а второй рукой за стол, устоял.

В дверь зазвонили. Кох понял, что он сделает, ему стало спокойно. Пришел Шульце, все отвлеклись, отец поковылял к дверям.

В доме был еще один выход – из кабинета отца во двор, и в кабинете на стене висело старинное ружье, к которому запрещалось прикасаться, потому что оно заряжено. В ружье один патрон, но Коху хватит, чтобы раз навсегда оборвать обрушившийся на него кошмар.

Кох ждал, пока все выйдут. Маленькая Катрин виснет на отце и ноет, что Вильгельм хороший, очень хороший, он такой добрый. Может, он нашел эту золотую денежку, что они брали в шкатулке деньги на цирк, на мороженое, на куклу – мама разрешала.

Кох вошел в кабинет отца, снял со стены ружье, вышел во двор, прошел в сарай и задви-нул за собой засов.

Ружье тяжелое, с неуклюжим длинным стволом и коротким прикладом, до курка тянуться – не хватает руки. К виску не приладить. Но если упереть приклад в землю, то легко приставить ствол к груди, это больно, но никакого значения боль сейчас не имеет.

– Господин Шульце?..

– Вы чем-то огорчены, господин директор? А я пришел вас поздравить! Это потрясающе!!

– Что?

– Вильгельм не сказал?

– Он сегодня не склонен давать объяснения своим поступкам, господин Шульце. В школе всё спокойно?

– О чем вы говорите! Ваш сын получил в Берлине Золотую медаль! Вы только почитайте, что о нем пишут! Он прославил вас, да и всех нас! Невероятный успех!

– Что о нём пишут?

– Прочтите! Прочтите! Нет, сядьте! Все сядьте! Я сам вам прочту! Где Вильгельм?

Директор расположился в кресле, отставил костыли, Шульце развернул письмо из Бер-лина, положил на стол газету, где имя Вильгельма Коха красовалось в крупном заголовке.

– Послушайте! – провозгласил Шульце.

И в этот миг во дворе прозвучал выстрел, в комнате вдруг стало очень тихо.

Директор Кох всё понял, поняли жена и дети, потому что они с криком и со слезами помчались через кабинет отца во двор. Жена закрыла ладонью рот – и все равно вскрикнула, словно выстрелили в неё.

– Что такое? – пробормотал Шульце.

Влетел маленький Фридеберт и не сказал, а закричал:

– Папа! Он взял ружье! Он заперся в сарае! Он не открывает! Папа! Он же убил себя!! Папа, он же был хороший!!

Все двинулись во двор.

– Вильгельм, немедленно открой! – строго потребовал отец.

– Что-то случилось? – проговорил Шульце, переводя взгляд с одного на другого.

– Вильгельм! – повысил голос директор Кох. – Отопри немедленно! Вильгельм! Ты меня слышишь?!

Судорога, что свела тело Коха еще в гостиной, была началом его агонии.

Будь тысячу раз проклято его желание что-то понять, и десять тысяч раз его желание кому-нибудь объяснить то, что понял. Ничего, кроме молчания, в этой жизни невозможно. Когда Густав и одноклассники похабно смеялись над ним, он это вынес, потому что он верил родителям, но когда тоже самое при всей семье сказал отец и никто не возразил, тогда наступил конец. Кох возненавидел себя, эту жизнь, этот мозг, всё, что было когда-то им, Вильгельмом Кохом, сыном проходимца.

О, это была самая страшная его тайна, теперь ее не узнает никто. Кох прекрасно знал этого проходимца, он видел его постоянно во сне, он говорил с ним, но считал его своим сном.

Они подняли матрас, они выгребли все его тайны и сокровища, но самое главное о нем никто никогда не узнает, оно умрет вместе с ним. Это были не сны, теперь Кох знал это точно. Сном было все остальное – неприятным, пропитанным ложью, сном.

Это были видения, в них жил человек. Кох теперь точно знал, что это и есть его Отец, его настоящий Отец, его Проходимец. Только с ним Кох мог говорить ночи напролет, показывать самолеты, с ним слушал удивительную мелодию из звуков флейты, которую неумело пытался повторить, когда был в доме один. С ним гулял в небесах, говорил обо всем. Этот человек колдовал формами и линиями, бесконечностями пространств, делая их ясными и простыми – как лента Мёбиуса.

Лгал ли сам Кох – вопрос, но то, что он жил во лжи, это так. Может, брат и сестры и любили его, режут под дверью в голос. Мать любила, но, наверное, стыдилась его, потому что он её грех, но за что точно Кох был ей благодарен, так это за ее Проходимца.

От выстрела Коха только подбросило вверх, вспороло грудь, раскрошило ключицу, вышибло плечо. Курок шел очень туго и ствол немного соскочил. Теперь все не имело значения – кровь хлестала струей, все равно это всё сейчас закончится.

Дверь вышибли.

– Что ты наделал, Вильгельм?! – это, заикаясь, шептал Шульце. Отец стоит как в столбняке, Кох отворачивается, он не хочет видеть этого человека.

– Вильгельм?.. Зачем?.. – тихо произносит отец. Кох все-таки смотрит на него.

– Чтобы... вам... не стыдиться меня... господин директор... Я не вор... и не лжец, но бесспорно... ублюдок... и с этим ничего не поделать.

Кох рад, что почти беззвучно, но он это сказал.

– Боже, какая ужасная рана! – кричит Шульце. – Скорее врача! Врача! Ради Бога – врача!!

– Не надо, – Вильгельм говорит это Шульце, а, может, и не говорит, потому что больше он ничего не понимает, не видит, не слышит, ему ничего не жаль.

Когда Кох очнулся в бинтах, туго стягивающих грудь, говорить он мог, рядом сидел начальник полиции и бледный, как смерть, его не-отец-отец.

Кох спокойно объяснил, что избili его мальчишки в школе, потому что он сам затеял на уроке драку. Отец, господин директор, никогда его не бил и не ругал. Ружье он взял посмотреть без спросу и нечаянно выстрелил в себя. Лжец так лжец, почему бы не солгать?

Начальник полиции остался доволен его ложью, всё записал и ушёл. Отец-не-отец молчит, мать плачет, малышни нет, наверное, отосланы к теткам. А вот пить лекарства, что-либо принимать от них, он не будет.

Как исключение, кроме врача, допускали Шульце, тот все маниакально твердил о каком-то великом будущем, говорит и о премии – хорошо.

– Этого хватит, чтобы вернуть всё, что я украл у вас, господин директор? – губы Коха и сейчас еще подрагивают. – Не тратьте деньги на врача, я не собираюсь жить. Ненавижу себя за то, что я вас так любил. Понимаете, господин Шульце, что как ни воспитывай ублюдка, ничего кроме ублюдка из него не выйдет. Я ведь вас правильно понял, господин директор?

– Уйдите все отсюда, – раздался голос за спинами сидящих и стоящих у постели. Вильгельм Кох, не поднимая глаз, улыбнулся знакомому голосу и не сразу позволил себе перевести взгляд на говорящего, вошедшего без звонка, стука и приглашения – его Проходимца. Успел взглянуть на мать – она покраснела и стремительно вышла. Значит, не ошибся.

– Все вон! – непререкаемо, тихо сказал незнакомец, и все подчинились без единого возражения.

Проходимец закрыл за ними дверь очень плотно, подошел к постели, сел рядом. Он, оказывается не бестелесный дух, он из плоти и крови. Сел, смотрит в глаза, окинул пристальным взглядом скрытую повязкой рану и откинулся к спинке кресла.

– Глупо, Вильгельм, – сказал он. Было все равно, что он скажет, главное, что он пришел.

– Этого нельзя было делать, я не учил тебя этому. Ты обещаешь мне, что больше такого не будет никогда, тогда я тебя забираю. Нет – лежи, умирай.

Кох потянулся рукой к его руке, незнакомец сам забрал его руку в свои.

– Что ты завелся из-за пустяка, Вильгельм? Это не то, из-за чего следует швыряться жизнью. Закрой глаза, я немного подсоберу тебя и поедешь со мной.

– Ты мой отец?

– Я твой учитель и этого достаточно. Ты будешь называть меня господин Аланд.

Он взял нож и просто вспорол повязку. Кох дернулся, но «господин Аланда» это не интересовало.

– Ты, Вильгельм, дурак, потрудись это запомнить. Повтори, чтобы я убедился.

– Я дурак, я очень ждал вас.

– Твоя комната наверху?

– Да.

– Спи, сейчас все улажу и увезу тебя.

– Если бы я знал, что вас только смертью можно вызвать, я бы давно снял со стены ружьё...

– Первое, что я сделаю, когда тебе станет лучше, выдеру тебя.

– А я поцелую вашу руку.

– Сомневаюсь. Огорчу тебя страшно, я бы и так тебя забрал, а вот сможешь ли ты теперь летать – это вопрос.

– Смогу. Это не смерть, а пара пустяков.

– Не пара пустяков. Я за ухо тебя держу вторые сутки, иначе бы ты давно летел в тартары. Подумай, хочешь ли ты уехать от доброго отчима? Я не отчим, я из тебя всю твою глупость вытряхну, как пыль. Будешь вспоминать о беззаботном детстве.

Кох улыбался.

– А теперь спи.

Глава 4. Хроматическая фантазия и fuga

Кох очнулся в незнакомом месте – просторная комната, высокие потолки, высокие окна, красивые светлые занавески. Ночь, неяркий свет настольной лампы.

Кох совершенно не помнил, как он здесь оказался, наверное, его привезли сюда в глубоком беспамятстве, но никакой боли он не ощущал, плечом повел, неудобно, но не более того. Из соседней комнаты вышел Аланд, смотрит скептически, прячет иронию на дне глаз. Поднял Коху подушки, напустил на лицо строгости, самой строжайшей строгости на свете.

– Вильгельм, – заговорил он вполголоса, словно их кто-то подслушивал, – чтоб этого больше никогда, никогда не было, иначе я тебя знать не знаю.

Кох улыбался. Боже, как он любил этого человека. Сколько любви в его глазах, в его почти прогневанном голосе.

– Голова кружится?

– Нет.

– Медленно сядь. Теперь?

– И так нет.

– Обопрись на меня, попробуем встать. Как теперь?

– Всё в порядке.

– Хорошо. Мне с утра придется уехать, проживешь тут один. Не возражаешь?

– Нет, здесь очень спокойно.

– Книги на столе – это последний класс твоей гимназии, за две недели управишься?

– Конечно.

– Пойдем, напою тебя волшебным чаем, чтоб ты окончательно ожил. Потом сядем в медитацию, я должен убедиться, что ты останешься в безопасности.

– Это как?

– Что как? Чай пить как или в медитацию как?

– Про чай понятно, – улыбался Кох.

– Медитация – еще проще, это то, чем мы с тобой столько лет занимались.

– Так я все-таки умер?

– Вот привязался-то со своим «умер».

– Простите, но мне слишком хорошо.

– И что? Я тебе обещаю, что если ты по своей глупости умрешь, тебе будет куда хуже, я тебе такое устрою...

– Почему я вас так люблю?

– Потому что... я уже объяснил. Да, я тебя еще выдрать обещал, и любви твоей сразу поубавится. Набрось халат, иди, приведи себя в порядок, я чай заварю. Осторожнее, голова закружится – сразу сядь, прямо на пол и голову вниз.

За чаем Аланд распекал Коха в самых изощренных выражениях, а Кох ничего не мог с собой поделаться – улыбался.

– Если бы я знал, что вы не только во сне, я бы давно ушел вас искать, – объяснялся в любви Кох.

– Интересно, куда?

– Где мы? В окне ничего не видно – только белые стены и деревья.

– Пока меня не будет, дальше этого белого забора, пожалуйста, ни ногой.

– Конечно, я от вас никуда не уйду, теперь мне не надо вас искать.

– Вильгельм, ты и в самом деле глуп настолько, что не понимаешь, что ты сидел у меня вот здесь постоянно? – он ткнул себя между бровей. – Я мог не укараулить тебя, мог не успеть выбить ружье, не успеть приехать, почему ты не доверял ни мне, ни себе? Ты за столько лет не понял, что я вижу всю твою жизнь, и что она мне не безразлична?

– Я думал, это странные, хорошие сны.

– Вильгельм, я бы рад всегда смотреть только на тебя, но, поверь, я тоже человек, у меня бездны работы, я отвечаю не за тебя одного. Я объяснял тебе больше, чем многим, ты был готов меня воспринимать, но на тебя я и рассердился, не думал, что ты можешь так легко от всего отречься из-за того, что какой-то дурак что-то сказал. Все и всегда что-то говорят, и умное куда реже. Здесь ты в безопасности, тебе будет хорошо, спокойно работай, ты любишь уединение, чем заниматься, объясню. Я буду приглядывать за тобой, но надеюсь, что ты больше не станешь так нарушать мои планы, как это было две недели назад.

– Две недели назад?

– Да, ты уже одиннадцатый день здесь. Я привел тебя в чувство, потому что рана затянулась, обошлось. Еще чаю?

– Нет, спасибо. От него очень тепло, мне стало совсем хорошо.

– Тогда пройдемся по Корпусу, я тебе покажу твои владения, чтобы ты не плутал. Здесь никого не бывает, сюда никто не придет и не побеспокоит тебя.

– Где мы?

– Это предместье Берлина. В мое отсутствие будешь делать гимнастику, которую я тебе покажу, чтобы устранить последствия твоего необдуманного выстрела и полностью восстановить безболезненную, свободную подвижность плечевого сустава. Пара миллиметров, Вильгельм, и ты бы тут не находился! Жизнь, это школа, Вильгельм, даже если ты получил плохую отметку, это не повод прекращать работать над знаниями.

Он повел Коха через улицу (ночь была теплая, ясная, пахло сиренью), вошли в тренировочный зал, Аланд заставил Коха несколько раз повторить целый цикл упражнений, показал, где хранится одежда для занятий, где душ, и повел обратно, но не на второй этаж, а на первый. Они вошли в другой зал, вспыхнул неяркий свет на сцене и осветил два рояля, один зачехленный, второй открытый.

– Запомни, как я сажусь за инструмент. Сядь сам. Расположение нот на клавиатуре ты знаешь, у вас было дома пианино.

– Да, но я очень не любил, когда оно звучало, это было шумно и болела голова.

– Естественно, если на нем барабанят для детей марш, польку или галоп. Мы говорим о другом. Вот сборник упражнений, сыграй самое первое правой рукой.

– Я никогда не играл.

– Набери ноты, это удобная комбинация даже для неподготовленной руки.

Аланд смотрел, как расположилась на клавиатуре рука Коха, кивнул.

– Играй упражнения минут по тридцать, по часу, хорошо, если ты сделаешь это за день два-три раза.

– Зачем, господин Аланд? Я не люблю музыку.

– Сейчас тебе неприятен звук рояля?

– Он не раздражает, он нейтрален.

– Перейди в зал, сядь, где хочешь.

Кох спустился в первый ряд, сел в мягкое черное откидывающееся кресло.

– Слышал ли ты эту музыку?

После первых же нот Кохом овладело странное беспокойство: мелодия разошлась на голоса, он ощутил стройное параллельное движение времен и пространств, звук требовательно, как напористая рука, ухватил его за сердце и не отпускал. Такой выраженной стройности Коху слышать не приходилось, в ней и была необыкновенная красота этой музыки.

– Что это? – спросил Кох, когда Аланд повернулся к нему.

– Эта музыка тебе нравится? Иоганн Себастьян Бах. То, что тебе резало слух, музыкой не являлось, а Баха ты мне переиграешь.

– Я смогу?

– Будешь слушаться, сможешь.

– Как вы играете!..

– Чем больше ты в мое отсутствие освоишь упражнений, тем лучше. Вот метроном, если возникнут сомнения, удерживаешь ли ты ритм, проверь себя. О том, что вверх играют крещендо, вниз диминуэндо, ты понял. Внутри каждого упражнения, каждого периода стоит осмыслить динамику, движение на протяжении всего упражнения не должно прекращаться, замирать или ломаться. Это должно звучать примерно так... Двумя руками нет смысла играть, пока каждая рука не будет удерживать строгий ритм.

– Сыграйте, пожалуйста, еще раз ту музыку.

– У нас будет время поиграть. Хорошо, сегодня я еще немного времени на это потрачу, я понимаю, что ты разволновался, но мне необходимо проверить твою безопасность в медитации, Вильгельм. Это куда важнее. Не скажу, что ты почти шестнадцать лет прожил на свете зря, но работы много.

– Над чем мы будем работать?

– Над сознанием, Вильгельм. Ты ведь понял, что сознание – как инвенция Баха, только куда сложнее. В нем много уровней, параллельных слоев, пластов, голосов, и оттого, как сплетаются внутри человека голоса и уровни его сознания, зависит то, как звучит его бытие. Это может быть разнузданная, примитивная, фальшивая полька, а может быть fuga или концерт Баха.

– Концерт Баха, – повторил Кох.

– Знакомое сочетание слов, не так ли? – улыбнулся Аланд. – Концерт Баха будет немного позже. А пока я сыграю тебе хроматическую фантазию и фугу, и прервемся на этом.

– Можно я постою рядом? Я хочу посмотреть, как вы это делаете...

– Можно, только отойди из-за плеча. Встань или еще лучше сядь рядом.

– Какой красивый инструмент...

– Это один из языков музыки.

– И вы сможете научить меня играть?

– Ты сам либо сможешь научиться, либо нет, я тебе помогу.

– Вдруг у меня нет способностей?..

– В твоем случае способности – это мера желания, руки – инструмент, нужно понять, что ты хочешь ими вылепить. Ты ведь не учился годами чертить циркулем круг, ты захотел изобразить его, так и с музыкой. Автоматизм и беглость можно быстро развить, главное понять, что ты хочешь услышать. Руки нужно освободить от страха, и они покорятся. Когда ты пошлешь рукам энергию твоей звукотворческой воли, руки ответят тебе. В спортивном зале ты будешь копить энергию, учить ее свободно перетекать в теле, здесь ты будешь ее направлять и преобразовывать. В медитации ты с помощью энергий поднимешь свое сознание над телом, ты выведешь его на новые, более высокие планы, научишься в них находиться и существовать, все взаимосвязано, ничего лишнего я не потребую от тебя.

Кох смотрел в глаза Аланду, то, что он говорил, было правдой, Кох сам испытывал это на себе много лет, только Кох считал это чудом и сном, в котором он прикасался к подлинной жизни, а Аланд так жил, его сознание делилось, слоилось и не распадалось. Он мог быть здесь, слышать Коха и быть в тысяче километров отсюда.

Аланду нравился взгляд Коха – это был цепкий, пытливый взгляд хорошего ученика.

– Хорошо, Вильгельм, я рад, что ты пытаешься меня понять.

– Неужели ты, правда, мой отец? – почему-то снова пробормотал Кох.

– Я понимаю, – ответил Аланд, – что в свете последних событий для тебя этот вопрос очень важен. Я отвечаю тебе – да, и сразу же попрошу не упоминать об этом больше, не оттого, что я не хочу признать тебя сыном, а потому что сейчас для нас куда важнее отношения ученика и учителя. Все родственное может помешать нам в работе, довольно, что мы испытываем эти чувства. Бояться, что я тебя брошу или отрекусь от тебя, не нужно, этого не может быть. Я знаю, что ты умеешь молчать, это необходимое свойство для духовного ученичества. В том, что я люблю тебя, можешь не сомневаться никогда. Почему я оставил тебя с матерью, поймешь чуть позже. Пока рабочей версией пусть будет то, что ты немного узнал о мире, в котором ты будешь работать и жить.

Аланд утром уехал. Кох погрузился в тренировки, учебу. Учиться он всегда любил, но такого неимоверного желания и подъема всех сил не испытывал никогда.

То, что Кох был здесь один, нисколько не тяготило его, он любил одиночество и ему всегда его не хватало. Прежнюю жизнь как отрезало, он вспоминал о ней, как о сне, тревожном и неприятном. Присутствие Аланда Кох ощущал в своем сознании постоянно. Единственный ужас, который иногда накатывал на него, что было бы, если б тогда он все-таки разmozжил себе голову или сердце нелепым выстрелом. Он никогда бы не оказался здесь, не встретился бы с этим человеком – своим учителем и отцом, и шестнадцать лет его жизни оказались бы полной бессмыслицей.

За три недели, что не было Аланда, Коху самому стало казаться, что он повзрослел. В зеркале он видел совсем другого человека, и этот человек был ему куда симпатичней.

Аланд вернулся утром, когда Кох, переиграв упражнения, потренировавшись в зале, сидел над книгами.

– Здорово, Вильгельм, молодец, я тобою доволен. Фердинанд, заходи, знакомьтесь. Вильгельм – Фердинанд. Вильгельм, сбрось рубашку, посмотри, Фердинанд. Что скажешь?

Кох обернулся, от такого темпа он впал в растерянность. В комнату вошел молодой человек – может, года на два старше Коха, светлый, синеглазый и, несмотря на свою молодость, с внушительной залысиной на лбу. Улыбался он ослепительно, руку потянул дружески, просто. Коху он понравился сразу и безоговорочно. Даже то, что вошедший довольно бесцеремонно скинул с плеча Коха рубашку, Коха не покорило. Сделал он это естественно, подчиненный только профессиональному любопытству.

– Это невозможно, доктор Аланд.

– Ты подвергаешь сомнению мои слова?

– Нет, костную мозоль я вижу. Но как?

– Ручками, доктор Абель. Для чего-то они у человека приделаны?

– У человека много чего приделано, но разнёс он себя здорово, ничего не скажешь.

– Да, а я его так и не выпорол.

Кох переводил взгляд с одного на другого.

– Рёбра тоже вы клеили? На ключице осколки как хорошо встали...

– Так я собирал их два дня спустя, Фердинанд. Эти идиоты ничего не сделали и не пытались, я отвык ковыряться скальпелем, но пришлось. По свежему и так бы составил. Больше суток добирался. Кто мог подумать, что этот дурак побежит в сарай стреляться, получив на конкурсе Золотую медаль?

– Я слышал от доктора Аланда о твоих успехах, Вильгельм, – тепло, хорошо сказал Абель. – Поздравляю.

Он еще раз пожал руку Коху.

– Что? Будем пить кофе? Свари, Фердинанд. В соседней комнате всё найдёшь, это твои комнаты. Вильгельм жил в них на правах больного, я его привез без сознания. Пока Фердинанд сварит нам кофе, Вильгельм, я тебе все-таки всыплю, так что спускай штаны и ложись на диван. Не смущайся, Фердинанд – человек деликатный, он выйдет.

Абель, пряча улыбку, вышел. Кох непонимающе смотрел на Аланда.

– Ты меня не слышишь, Вильгельм? Или это акция протеста? Я обещал, придется так и поступить.

– Я больше не буду так делать, – пробормотал Кох, отступая от Аланда.

– Вдруг ты забудешь о своем обещании? А этого ты не забудешь никогда, и заодно будешь знать, что я вовсе не такой добрый, каким показался сначала. Ты чудом остался жив, и хорошо, что уцелела рука, следовательно, ты дурак, а дураков надо учить.

– Я им был, теперь всё изменилось.

– Да? Тогда можешь выйти вон и проследовать за ворота, считай, что я тебя выгнал за непослушание, и посмотрим, что ты будешь делать.

Кох тоже подумал, что он будет делать, и понял, что просто убьет себя.

– Ну, дорогой, – тут же поддел его мысль Аланд. – Кто из нас прав? Далеко ушла от тебя твоя глупость? Всего-то до ворот, – Аланд как фокусник развел руками и засмеялся. Кох разозлился и пошел к дивану с самым решительным видом, Аланд придержал его за руку.

– Вильгельм, я всего лишь предупредил тебя, что твоя глупость гуляет неподалёку, так что сильно не обольщайся.

Аланд приобнял Коха за плечи.

– Не злись, на меня злиться бесполезно, мне это все равно. Унижать не буду. Если наши мнения разойдутся принципиально, получишь в физиономию, но это когда драться научу. Всё? Перестал злиться? Не перестал. Вильгельм, хочешь в жизни что-то понять, принимай её любой. Ни Господь Бог, ни я зла тебе не желаем. Это аксиома, вбей её в свою голову, пригодится. Посмотри мне в глаза. Ужас!.. Злющий-то какой!.. – Аланд рассмеялся. – Фердинанд, ты только посмотри, он меня сейчас убьёт, но лучше меня, Кох. Все равно ничего не получится, а гнев пройдет. Лучше обними меня.

– Нет.

– А кто-то мне обещал руки целовать, если я его выпорю. Не знаешь, кто это был? Как там наш кофе, Фердинанд?

– Почти.

– Фердинанд, скажи, что надо сделать, чтобы этот господин перестал на меня сердиться?

Абель вышел к ним с туркой в руке, по-прежнему сдержанно улыбаясь, на Коха посмотрел все также светло.

– Вильгельм, господин Аланд – слишком добрый человек, потому ему приходится иногда изображать из себя злодея, не обращай внимания.

– На меня?! – уточнил Аланд. – Ты чему ребенка учишь, Абель?

– Где чашки? – дипломатично перевел разговор Фердинанд.

– У меня в кабинете, по коридору – первая дверь направо. Сходи, Вильгельм.

Кох еще захлёстывало обидой – то ли на Аланда, то ли на себя, но обругал он мысленно дураком Аланда и пошел к дверям.

– Между прочим, дурак у нас, по-прежнему ты, – ответил ему вслух Аланд. – И за дурака в мой адрес ты рискуешь улечься на диван очень основательно и не без тягостных для тебя последствий.

Абель рассмеялся.

– Вильгельм, он мысли читает, так что можешь ругаться вслух, одно и то же.

– Простите, господин Аланд.

– За мысленные ругательства, Вильгельм, принимаются и мысленные извинения, конечно, если они полны искреннего раскаянья, я его не вижу, но я понимаю, что от вас я услышу еще и не такое, мои преданные ученики.

Кох принес два прибора, поставил их на стол и молча сел в стороне.

– Почему два?

– Я уже позавтракал, спасибо. К тому же, кофе я не люблю.

– Господин Аланд, – сказал Фердинанд, – тет-а-тет он бы вас, конечно, послушался, а тут я, посторонний человек, мне тоже было бы неудобно.

– А знаешь, до чего мне было удобно нестись через всю Европу? И главное, как удобно мне было за тысячу километров выбивать из его трясущихся рук ружье!

– Можно я все-таки пойду за ворота? – Кох поднялся. – Я так ни разу и не вышел за них без вас.

Кох ушел.

– Отличный характер, – сказал Аланд.

– Не начудит?

– Ничего страшного, пусть остынет.

Абель подошел к окну.

– В самом деле, к воротам пошел.

– Естественно, надо же себя испытать. А вдруг ничего?

– Может, вы его пережали? Мне его жаль, видно, что гордый. Вас знает мало, меня совсем не знает. Может, его вернуть?

– Я уеду – разговори его, ему было слишком хорошо одному, рано.

– Вышел за ворота. Вы знаете, что он будет делать?

– Сам не хочешь посмотреть?

– Если это не воображение, то я вижу, что он просто стоит у стены и смотрит в небо.

– Не воображение.

– Ему пятнадцать?

– Только что исполнилось шестнадцать. Я привез ему подарок, он давно об этом мечтал, уеду – отдашь.

– Может, лучше вы сами?

– Если бы это было лучше, Фердинанд, я бы так и поступил. Это будет сейчас неуместно, увидишь.

– Смотрит в небо, просто смотрит в небо. Пошел назад. Это все, что он хотел?

– Там самолет пролетел, рядом аэродром.

– Забыл, что это его любовь.

Кох вошел решительно, прямо взглянул Аланду в глаза.

– Я хотел вас спросить, господин Аланд, мои документы у вас или у отца?

– У вас или у вас? – передразнил Аланд.

– Я хотел бы забрать их. Вы знаете, где ближайший аэродром?

– Не очень далеко, часа два по шоссе, если пешком, из ворот направо, никуда не сворачивай – упрешься.

– Так я могу забрать документы?

– Разумеется. И прихвати вещи на первое время, обмундирования тебе никто сразу не выдаст и в самолет не посадит.

– Я вам очень благодарен за все.

– Было бы надежнее, Вильгельм, если бы ты на неделю задержался и сдал за курс гимназии. Шансов было бы больше.

– Ты что, Вильгельм? – забеспокоился Абель. – Ты хочешь куда-то уйти? Зачем?

– Фердинанд, никто его здесь насильно не удерживает. Так что с гимназией решишь, Кох? Ты ведь понимаешь, что я прав. Чтобы тебя не раздражало мое присутствие, можно сложить книги и уйти к себе. Твой дом по правую руку, если смотреть с крыльца. В нём две половины – твоя открыта.

– Не думайте, что я ухожу из-за обиды, я давно хотел летать. За гимназию я готов сдать экзамены. Когда и где это сделать?

– Завтра с утра и начнешь, волокиту устраивать не будем. Вижу, что тебе очень не терпится уйти отсюда. Музыкальные упражнения покажешь?

– Нет. Я вас так ждал, а вы приехали только чтоб посмеяться надо мной.

– Не только для этого, есть еще кое-какие дела. До вечера, мои дорогие, не ссорьтесь. Фердинанд, помоги ему перенести его вещи и занимайтесь своими делами.

Аланд сел в машину и выехал за ворота. Абель сразу подступил к Коху.

– Ты что, Вильгельм? Он собрался учить тебя, а тебе взбрело на ум побегать?

– Пока его требования были разумны, я охотно их выполнял. Я понял, он какой-то эзотерик, я терпеть этого не могу. На меня и дома руки никто не поднимал.

– Он тоже на тебя её не поднимал.

– Вот именно, посмеялся. И вообще, я хочу летать.

- Про это я слышал, ты не понял его, Вильгельм.
- Фердинанд, тебе нравится быть с ним – ради Бога, я сам сидел здесь и задыхался от любви к нему.
- И куда она делась?
- Не знаю. Если бы я его не любил, было бы легче. Я и своего отца тоже очень любил, а он меня пнул, и этот пнёт. Я не хочу ждать, когда это произойдет.
- Вильгельм, ты мог убить себя, это была страшная глупость. Он и не собирался тебя пороть, я бы тоже не дался, он всё объяснил.
- Я почти согласился, я испугался, что он меня выгонит, Фердинанд. Я испугался, что я его потеряю, я теперь сам не смогу здесь находиться, мне стыдно. Не возьмут в авиацию – уйду в армию.
- Кому ты нужен в шестнадцать лет в армии?
- Или в университет пойду, если за гимназию сдам.
- Ты не прав, подумай, пойдём к тебе. Я здесь первый раз, мы только приехали из Петербурга, я там учился. Думаю, он из-за тебя так торопился с моим переводом.
- Фердинанд, я знаю, что сам виноват, я и дома боялся все потерять, и здесь, и все, что я боюсь потерять, я теряю.
- Тебя в школе розгами не секли?
- У нас этого в гимназии не было.
- У нас тоже не было, но меня выпороли перед всей школой, и ничего, учился дальше.
- Тебя? За что? С виду ты такой паинька и отличник.
- Все мы, Кох, с виду паиньки и отличники, но розги б тебе сейчас не помешали. Ты подумай, что в армии тебя могут просто убить, выстрелят, как по мишени.
- Тем лучше.
- Опять то же самое! Может, мне самому тебя выдрать?
- Попробуй.
- Тут и пробовать нечего, с таким, как ты, я легко управлюсь. Ты ему обещал, что не будешь легкомысленно относиться к своей жизни, а песня одна и та же.
- Это не твое дело. Не строй из себя большого.
- Я ничего из себя не строю, но два года с Аландом, Вильгельм, это не один вечер. Это кое-что значит.
- И что это значит?
- А то, что я сейчас скручу тебя – и лицом вниз на диван.
- Живым не дамся.
- Опять! У тебя навязчивый суицид? Может, у тебя с головой проблемы? Тогда тебе летать нельзя, да, мозг у тебя перевозбужден. Судорог не бывает?
- Не бывает. Дрянь ты, Абель, а ведь тоже сначала таким своим показался!..
- Ну так беги, застрелись из-за этого, не стоит упускать такой повод. Ладно, Кох, поговорили, а сейчас я тебя начну лечить.
- Схватка их была недолгой. Кох с заломленными руками оказался вжатым грудью в диван.
- Продолжать? – поинтересовался Абель.
- Отпусти!
- Абель выпустил его.
- Пошли в зал, кишка тонкая. Я тебе хоть самое элементарное покажу, а то тебе в армии всю рожу отобьют, будешь так драться. Или девочкой сделают.
- Правда, покажешь?
- Придется, а то и поумнеть не успеешь.

– Фердинанд, я совсем запутался, я ничего не понимаю. Я был так счастлив. Ты понимаешь, я все детство видел его лицо и говорил с ним. Это даже не сны, это что-то другое. А он как гад со мной...

– Он как отец с тобой, и я с тобой как брат, объяснил бы мне кто почему. Он не виноват, что мы, как трехдневные слепые щенки, тычемся носами в собственную лужу. Он не над нами смеется, а просто потому, что ему в самом деле смешно это видеть. Но он же берет нас, не брезгает, отмывает, ставит на лапы, подводит к молоку – только нет, молоко на пол, и обратно, откуда вынули.

– Что мне делать, Фердинанд?

– На подарок его посмотри, это он тебе привез на день рождения.

– Что это? Телескоп?!

– У себя разберешь, потом установим. Мы в зал собирались, пойдём, пока я не засел за работу.

– Чем ты занимаешься?

– Медициной.

– Сколько тебе лет?

– Почти девятнадцать. Он мне про Корпус рассказывал, а тебя он сюда привел.

– Мне он ничего не рассказывал.

– Вильгельм, он прекрасно знает нам цену. Расскажет и тебе, когда поймет, что ты остался. Я не уверен, что тебе в жизни еще раз встретится такой человек, я до сих пор от счастья опомниться не могу, что он мой учитель, что он меня оставил при себе. Таких людей, как он, я не видел никогда. Если он в чем-то нам непонятен, то это потому, что у нас мозги недоразвиты.

– Что делать, Фердинанд?

– Делай то, что он говорит, про то, что ты хочешь летать, он не забудет.

– Фердинанд, ты слышал, как он Баха играет?

– Нет, но представляю. Говорю тебе: таких, как он, не бывает.

– Он сам меня выгонит.

– Он не выгонит. Если, как ты говоришь, ты все детство его видел в медитации, то ясно, что он всю жизнь тебя за уши тянет в духовные миры. Как он может тебя оставить? Это мы предатели, а не он. Я тоже не мистик, но у него иные отношения с материей, временем и пространством. Он знает, что ты подумал, как ты поступишь, как это может быть? Тебе не интересно это понять?

– Фердинанд, я люблю его, не могу тебе даже объяснить, что он для меня значит. Но мне стыдно перед ним, ни перед кем мне не было так стыдно.

– Может, нужно однажды устыдиться себя самого, Вильгельм, чтобы захотеть перемен?

Абель с Кохом провели весь день вместе не в силах наговориться и разойтись по своим комнатам. Аланд иронично посмотрел на оставшиеся чистыми листы на столе Абеля, на нетронутые, горой сваленные учебники Коха.

– Ты завтра едешь сдавать математику, Вильгельм?

– Да.

– Фортепианные упражнения, которые ты выучил без меня, ты мне так и не покажешь? – уточнил Аланд.

– Почему? Я готов.

– Хорошо, послушаем, Фердинанд? Телескоп установили? Ночь будет ясной.

– Господин Аланд... – смутился Кох. – Я не знаю, как вас благодарить...

– Рад, что тебе угодил, а ты угоди мне за роялем. Между прочим, Фердинанд, ты так и не начал музыкой заниматься.

– Мне скоро девятнадцать, поздно вато.

– Мне скоро 330, и что? Фердинанд, музыка в Корпусе – обязательный предмет. Можешь не быть Ференцем Листом и Фридериком Шопеном – но ХТК отыграть было бы неплохо. Играй, Вильгельм, послушаем, что ты сделал самостоятельно. Я знаю, что ты хорошо поработал. Хочу, чтоб ты сам себя послушал и признал, что ты молодец.

Абель удивленно смотрел, слушал.

– Правда, что он раньше не играл?

– Правда.

– Пальцы какие точные.

– У тебя они, Фердинанд, не хуже. Иди, помоги ему с телескопом разобраться, я хочу один здесь побыть.

Абель с Кохом вышли, но у двойных дверей зала остановились, Аланд сел за рояль, играл он завораживающе.

– Он всегда такой? – спросил Кох.

– Какой?

– Он кипит энергией. Мне кажется, его тронешь – током ударит.

– Как правило, я таким его и вижу.

– Про 300 лет он хорошо пошутил...

Они отправились к Коху, скоро Аланд пришел туда. Глаза его поблёскивали, он потирал руки.

– Хорошо! – сообщил он. – Телескоп установили? Вильгельм, будешь глядеть на небо?

– Да, если можно.

– Пойдем, Фердинанд, я тебе интересную статью привез. С переводом в Берлин никаких проблем, как я и предполагал. Вильгельм, ты всё еще рвешься помаршировать? Завтра после экзамена ты у меня на плацу до вечера маршировать будешь.

– Это нарушит мое расписание.

– Перед медитацией зайди ко мне.

– Спать не ложиться?

– У тебя завтра экзамен, но медитации никто не отменял. Хочешь успеть поспать, отойди от телескопа, думаю, это не последняя ясная ночь в твоей жизни.

Кох улыбнулся, внутреннее веселье Аланда было заразительным.

Аланда часто не было в Корпусе, утром он заезжал, отвозил Коха на очередной экзамен. За неделю Кох все экзамены сдал. Аланд завершил «бумажные» дела с переводом в Берлинский университет Фердинанда, привез Коху его аттестат за курс гимназии, сообщил, что они с Фердинандом уедут и, следовательно, Кох может месяц от них отдохнуть.

Глава 5. Внук Бенедикто

Кох снова остался хозяином Корпуса. Он разучивал новые упражнения, этюды, оставленные ему Аландом, разбирал первые прелюдии и инвенции Баха, подолгу выслушивал протекания и преобразования гармоний из одной в другую, бродил по улице на территории Корпуса и размышлял о своей жизни.

Никто не появлялся на территории Корпуса, и до возвращения Аланда и Фердинанда Кох и не думал кого-то здесь встретить.

Он первый раз в Корпусе засел за оставленные чертежи и крайне удивился, когда кто-то вдруг взял его за плечо. Кох медленно обернулся, рядом стоял незнакомый человек. На случай появления посторонних в Корпусе Аланд не оставлял никаких распоряжений, этого как бы не могло быть. Он смотрел на незнакомца, не произнося ни слова.

За последние два месяца Кох очень вытянулся. Он оставался такой же худой, но ростом догнал Аланда, из-за худобы сам себе напоминая жердь. Перед ним стоял высокий старик, он определенно был выше Коха. Рука его на плече лежала твёрдо, слабым стариковским прикосновением не назовёшь. Кох попытался встать и не смог даже пошелохнуться.

– Кто вы? Как вы вошли сюда? – прошептал Кох.

– Как ни странно, через дверь, – улыбнулся старик и снял, наконец, с плеча Коха свою тяжелую руку. – Красиво рисуешь, – кивнул старик. – Но в мои времена мальчишки, интересующиеся живописью, рисовали красивых женщин и другие прекрасные творения Господа. Ты тоже хочешь быть Господом для этой летающей железной метлы?

Кох посмотрел на едва начатый чертеж фюзеляжа.

– Тебе очень хочется поскорее сесть в самолёт, Вильгельм?

– Вы знаете, как меня зовут? Но кто вы такой?

– Что ты так испугался? Тебе нравится быть одному, и ты опасаясь, что я буду бесконечно болтать и мешать тебе думать?

Теперь промолчал Кох.

– Пойдем, прогуляемся.

Старик смотрел такими ясными молодыми глазами, что Кох смутился, рука старика тем временем снова опустилась Коху на плечо и неумолимо повлекла за собой.

– Да скажите же, кто вы такой?

– А ты кто такой?

– Я Вильгельм Кох.

– Ты уверен?

– Что значит уверен? Вы сумасшедший?

– За тысячу лет никто ни разу не назвал меня сумасшедшим. Ты первый, Вильгельм Кох, если ты Вильгельм Кох, как ты утверждаешь.

Старик рассмеялся, и смех его очень напомнил Коху смех Аланда.

– Расскажи мне лучше о своих снах, дорогой. Помнишь, тебе снилось, как ты был листком, как ты плавно слетал с дерева и как тебе нравилось это парение в потоках ветра. А потом ты превращался в ястреба или в орла? Но ты кружил над землей на застывших простертых крыльях. Тебе тоже сначала это нравилось, но наскучило и это, тогда ты стал чайкой. Ты сворачивал и разворачивал крылья, ты складывал их так и эдак, летел против ветра, падал вниз камнем и взлетал на восходящих потоках, пока ветер не выломал тебе крыло, едва не оторвав его напрочь, просто вырвав его из плеча. Тебе было очень больно, но убило тебя не это, а то, что ты понял: ты никогда не сможешь летать. Помнишь?

Кох остановился.

– ...Этот сон повторялся и повторялся. Ты просыпался с ужасной болью в плече, весь в слезах, с заходящимся сердцем, разве не так? Пока однажды ты не проснулся здесь, у Аландо, и не понял, что плечо твое больше не болит, зато сам ты оказался вывернут наизнанку. Я бы на твоём месте вспомнил про эти сны, прежде чем сесть в нелепую деревянную фанеру, пролетевшую недавно над тобой.

Кох едва удержался от стога, так резко заломило вдруг у него в плече. Этот сон был самым частым сном его детства, если не считать полусна-видения с Аландом. Как старик странно Аланда назвал! Почему он знает то, о чем Кох никому не говорил?

– Да, оно опять заболело, тело помнит, как это было несносно, тело ничего не забывает, особенно таких потрясений.

– Откуда вы все знаете?

– Неважно, откуда знаю я, важно, что будешь делать ты.

– Куда вы ведете меня? Господин Аланд не разрешил мне покидать территорию Корпуса.

– Аландо не дорос что-либо разрешать или запрещать мне, не стоит его и слушать. Да, Вильгельм, он такой же дурак, как и ты, только на триста с лишним лет старше, но это ничего не меняет.

– Господин Аланд великий учитель, он такой замечательный, не смейте о нем так говорить.

– Господин Аланд великий засранец, но мне приятно, что ты думаешь о нем хорошо. Оттого, что он великий засранец, я люблю его не меньше, Аландо мой сын, я люблю его любым: и плохим, и хорошим, и умным, и глупым. Для любви это все не имеет никакого значения. Следовательно, и наши с тобой родственные связи тебе тоже понятны. Тебе хочется в небо, даже после того, как тебе вырвало крыло. Не надо меня бояться, не думай, что ты мне не нравишься, я не стал бы с тобой разговаривать, если бы это было так. Понимаю, тебе не будет покоя, пока ты не поднимешься в небо.

– Вы не осуждаете меня?

– Хорошо, что тебе есть до этого дело. Ты знаешь, где мы?

– Как мы здесь оказались? Это аэродром. До него два часа пути, а мы едва вышли за ворота...

– Где ты тут увидел ворота? А вот и твои самолеты, ужасные, непригодные к полету приспособления. Даже вид их, лишенных кожи и мяса птичьих остовов, грубо сколоченных из фанеры, говорит, что это машины для гибели. Тебе нравится?

– Они летают, я видел.

– Ну, полетай.

– Я не умею ими управлять.

– Летчик умеет, он так думает.

– Он меня ни за что не возьмет, самолёт одноместный.

– Пустяки, Вильгельм.

Кох ощутил то, что всегда ощущал во сне, когда его тело становилось телом чайки, ястреба или орла. Сейчас он осознавал себя собой, и в то же время он был другим человеком, с другим и своим сознанием одновременно. Это он садился в самолет, рука в кожаной перчатке легла на рычаг, машина задрожала и побежала по полю. Тело ощущало покой человека, управлявшего самолетом, и беспокойство самого Коха. Машина оторвалась от земли, ликование полета охватило Коха, и в то же время он чувствовал ненужные толчки, нестабильность положения в воздушном потоке. Летчик пошел на снижение, мозг Коха автоматически просчитывал угол наклона крыла, но ветер у земли вносил коррективы. Рука первого ошибалась, Кох чувствовал неизбежность падения и не мог преодолеть его самоуверенной глухоты. Этого решительного удара ветра в крыло еще не последовало, летчик не чувствовал его приближения, а Кох чувствовал, горло сдавило бессильным проклятьем.

Самолет качнулся, как от пощечины, и повалился боком, потеряв управление. Кох опомнился в своей комнате. Глянул на чертеж, смял его, он хотел нарисовать другое, а рисовал, оказывается, увиденную в небе фанеру-убийцу. Плечо болело, правой рукой Кох придерживал его. Хорошо, что он был один, потому что он тяжело и резко дышал, никакого старика и аэродрома не было, это его вечные сны.

Кох долго ходил по комнате, пытаясь отдышаться, потом сидел в оцепенении. Как ни странно, но от этих снов помогал только сон, крепкий и беспробудный. Наверное, он переутомился, он совсем отвык спать. Вильгельм лёг, пытаясь поудобнее пристроить болевшее плечо, только спать не хотелось, глаза упрямо открывались и смотрели в потолок.

Его мучило острое чувство, что он, в самом деле, только что был другим человеком, и только что этот человек погиб, разбившись при падении самолета. Кох встал, вышел на улицу, на ходу стянул плечо куском простыни, так болело чуть меньше. Зачем-то обошел Корпус в поисках старика, понимая прекрасно, что его нет и не было.

Чувствовал он себя странно, словно он отлежал или отсидел себе все – с ног до головы. Лёгкие хватали воздух резко, может, от такого дыхания и шло по телу это странное онемение. Сознание паниковало, ему было необходимо немедленно попасть на аэродром и увидеть место трагедии. Два часа ходу, долго. Кох вошел в гараж, машину Кох не водил, только внимательно смотрел, как Аланд делает это. Сейчас он понял, что нужно почувствовать, как Аланд это делал, как бы в этом ощущении стать самим Аландом. Он проверил бак, сдал назад, вывел машину из гаража, открыл ворота и выехал. Ворота закрылись. Движения – как память руки, память тела. Одна рука легла на рычаг, вторая на руль, плечо по-аландовски свободно развернулось, даже боль отступила. Вдавил педаль. Машина плавно поехала. Через полчаса Кох остановился на шоссе у аэродрома.

Разбитый самолет напоминал птицу с выломанными крыльями. Тело лётчика еще лежало под полотном на летном поле.

– Когда это случилось? – спросил Кох кого-то подошедшего к нему.

– Около часу назад. Ты кто такой? Как ты здесь оказался? Документы.

Кох растерянно пошарил по карманам – пусто, вспомнил, что с Аландом в машине любовался своим аттестатом, глянул в бардачок, папка с его документами здесь.

– Отличник! Папочка машину дал покататься?

– Я хочу летать.

– Отличники идут штаны протирать в университеты, и ты иди.

– Мне нужен начальник аэродрома.

– Начальник ему нужен. Кто тебя сюда пропустил? Почему ты на машине Аланда?

– Я учусь у него, почему пропустили – не знаю, меня никто не останавливал.

– Генерал где?

– Какой генерал?

– Аланд, о нем говорим. Он тебе задаст, если ты его машину без спросу взял, он таких шуток не любит, – стращал Коха лётчик.

Это было странно – все, что он говорил. Почему Аланд генерал? Откуда этот человек знает Аланда? Почему машину Аланда пропустили без вопросов на закрытую территорию?

– Мне нужен начальник аэродрома.

– Ты не понимаешь, что не до тебя?! – вдруг нервно возвысил голос лётчик.

– Понимаю.

– Человек разбился! Хороший человек!

Кох странно взглянул на лётчика.

– Он не был виноват, он не поймал ветер у земли, – заговорил Кох.

– Тебе-то откуда это знать? Что ты в этом понимаешь?!

– Знаю, я видел.

– Ты даже не знал, когда это произошло.

– Я потерял счет времени, но видел, как он разбился. Ветер ударил справа, самолет опрокинуло на бок. Он был бы жив, лишние пять градусов, и его повернуло... Фюзеляж слишком легкий и плохо обтекаемый ветром. С таким крылом при порывистом ветре не удержаться

– Ты это видел и хочешь летать?

– Да, хочу летать.

– В самолетах разбираешься?

– Хотел бы разбираться лучше. Можно я посмотрю на лётчика?

– Плохо не станет?

– Не станет.

– Так тебя зовут Вильгельм Кох? Аланд о тебе говорил, иди лучше строить самолёты, это тоже нужно и куда безопаснее.

Кох вопросительно смотрел в незнакомые глаза.

– Вы начальник аэродрома? Я готов выполнять любую работу, разрешите мне бывать здесь.

– Иди учиться, есть над чем подумать. Третий пилот за месяц! Это испытательный аэродром, здесь бились, бьются и будут биться.

– Самолеты должен делать тот, кто сам на них летает. Тогда и биться столько не будут. Откуда в бюро знать, что у земли может ударить порывом ветра и что будь самолет тяжелее, его бы так не швыряло... Фюзеляж не может быть вертикальной плоскостью – при боковом ветре его не обтекает воздушным потоком, лишнее сопротивление.

Кох склонился над погибшим, заглянул в лицо, действительно, стало плохо. Он придержал дыхание, чувствуя своим телом смерть другого тела.

– Не смотри, и на самолет не смотри, летать не сможешь.

– Смогу.

– ...Тут сопьяк Аланда приехал, говорит, что видел, как Эрнст разбился, и все равно летать хочет. Расписал мне все падение, как по нотам, словно сам там сидел.

– Распиши ему рожу, а еще лучше зад, и пусть катится отсюда.

Кох всматривался в незнакомые, мрачные лица, эти люди только что потеряли товарища, он не мог их осуждать, что бы они ни говорили.

Начальник аэродрома положил руку как раз на левое плечо, повязку Кох снял еще в машине.

– Может, ты и храбрый парень, но самолеты кто-то должен делать. Ты их чувствуешь.

– Я не говорю, что я не буду их делать, но летать я должен уметь.

– Ладно, генерал отпустит, заезжай, только порядок во всем должен быть. За самоволку и от него, и от меня получишь.

– Мы тебя, Кох, ведь и в угол поставить можем, так и знай, – сказал кто-то еще. – Так что уезжай скорее, конструктор.

– Можно я рано утром завтра приеду?

– Не проснешься, кошмары замучают.

– Можно я самолет все-таки посмотрю?

– А что еще тебе можно? Может, ему уже можно и полетать?

Смех над мертвым телом прозвучал для Коха странно. Он всё-таки не мог отделаться от чувства, что разбился он сам.

Кох подошел к самолету, как доктор больного долго рассматривал швы, сочленения, выстукивал раму. Нет, это все никуда не годилось, это, действительно, машина смерти. Мысли роєм носились в горячем мозгу Коха, кто-то опять хлопнул его по большому плечу. Кох обернулся.

– Пей, – человек, грозивший поставить Коха в угол, протягивал железную кружку, – раз уж приехал, помяни Эрнста, это был настоящий пилот. Летал на самых первых деревяшках и черти его не брали, а сегодня вдруг как ветром сдуло.

Кох взял кружку, выпил залпом и выронил кружку на землю, все обожгло внутри.

– Ты что, не разбавил? Спятил? Дайте ему воды! – закричал начальник аэродрома, но все только хохотали.

Кох глотнул воды, все равно сильно жгло. Такая шутка. Кох подошел к тому, кто потянул ему кружку, отвел от своего лица правую руку (левая так и висела безвольной плетью), отвел, расслабил, вспоминая краткую абелевскую науку, всего себя выдохнул в эту отяжелевшую кисть, и без особого размаха ударил в хохочущую физиономию. Летчик навзничь полетел в траву. Стало тихо.

– Неплохо, – сказал начальник аэродрома. – Не будете над новичками издеваться, правильно, Кох. До Корпуса доедешь?

– Доеду.

Кох подошел к упавшему, который почему-то заколебался в своем решении немедленно ответить Коху.

– Всё? – спросил Кох. – Не ржи тут, как конь, а то хвост свой заглотишь...

Кох сам не понял, почему и как он мог такое сказать. Он таких оборотов не употреблял никогда, даже голос это был не совсем его, какой-то низкий и с хрипотцой. Летчик прямо сидя пополз от него. Кох пошел к машине, ему было совсем плохо. Начальник аэродрома схватил Коха за левое плечо.

– Эй, парень, ты что такое сказал?

– Что я сказал?

– Кох, но это слова, это голос Эрнста. Ты что, знал его? Но как ты смеешь, дурак, изображать погибшего?

– Я ничего не изображаю. Это, конечно, ужасно смешно – для веселья сжечь мне всю глотку и тоже священным именем вашего Эрнста. Еще раз увижу этого... на аэродроме – всю траву, что здесь растёт, ему в пасть засуну.

– Ладно, Кох, заживет. Извини.

– Ну и летайте на вашем деревянном дерьме. Посмотрим, кто дальше улетит.

– Кох!.. Аланду не говори... Приезжай завтра, у нас с утра полеты.

– Пляшите сами вокруг своей единственной деревянной лошадки, а я найду, чем заняться.

– Ты как разговариваешь?

– А как с вами еще можно разговаривать?

Кох пошел к машине. Руку на руль не закинуть, в голове быстро нарастал отвратительный гул.

Кох пробовал продышаться, правой рукой закинул левую на руль, на малой скорости проехал вперед, развернулся, отъехал от аэродрома, пошарил в бардачке, вспомнив, что у Аланда там лежала какая-то фляга, глотнул осторожно и, ощутив опять что-то спиртное, вывалился из машины, его вывернуло, но стало легче. Кох отошел и лег на траву. Впереди было какое-то болотце, вода прозрачная. Кох прямо через рукав напился, думал, что теперь сможет сесть в машину и вернуться в Корпус, но земля странно закачалась под ним, он снова лег, его продолжало раскачивать, как в каком-то безумном полете, словно он ложился то на правое, то на левое крыло и никак не мог остановиться.

Скорее бы Аланд приехал. Что он скажет Аланду, он не знает, ему ничего и не надо говорить, только бы приехал.

Кох встал, смотреть вниз было странно, словно он видит землю из самолета, не земля, а топографическая карта. Не трава, а деревья, не камни – дома, не муравьи, а колонна автомобилей. Много-много автомобилей, их на всей земле столько нет. Куда они едут вереницами? Кох тер лицо, пытаясь отогнать от себя вспыхивающие со всех сторон светящиеся точки. Земля рванулась к нему, и он потерял сознание.

Очнулся и понял, что дело не в том, что он выпил. Если сейчас он очнется в своей комнате – и все это тоже сон, он несколько не удивится. Кох открыл глаза – он лежит в траве, на дороге распахнутая машина Аланда. Кох встал, сел за руль, он внимательно смотрел на дорогу и просил ее не качаться, ухватился за руль. Странно, что ему не лучше, а хуже. Кох ехал медленно, часто останавливался, смахивал пот, заливавший глаза, у ворот Корпуса снова остановился. Он хотел выйти, открыть ворота, но ворота открылись. Кох с облегчением вжал педаль газа – путешествие закончилось, и только когда налетел грудью на руль, когда на него посыпалось стекло и раздался отвратительный лязг металла о металл, он понял, что ворота были закрыты. Совсем он лишился разума. Чуть сдал назад, и ворота, действительно, открылись. Что за день такой?

Аланд вышел за ворота, Кох впервые увидел его в генеральской форме, отвел взгляд – увидел Абеля, бегущего к воротам. «Ну, хоть этот не генерал», – подумал Кох. Ему стало все равно, что он сегодня не натворил – трудно придумать.

Аланд открыл дверцу, взял Коха под мышки, потянул из машины. Кох покорно вывалился, качаясь на неустойчивых ногах.

– Ну, ты даешь, Вильгельм, какого черта ты в закрытые ворота въехал?

– Они были открыты, – ответил Кох.

– В самом деле? На ногах не стоит, просто герой.

– Он что – пьян? – с ужасом спросил Абель, принимая у Аланда Коха. – Господин Аланд, ему плохо...

– Еще бы, чистый спирт, да еще через час – запить водичкой, самое то. Спасибо, что коньяком не запил, не откачали бы.

– Вильгельм, ты что?

– Я выпил совсем немного. Мы лётчика поминали.

– Вы особенно, господин Кох! – сказал Аланд. – Они его спиртом напоили, Фердинанд. Тащи его к нам, у него ожог, а я это позорище за ворота загоню. Машину разбил, ладно, ворота не пострадали. Наши ворота крепче, чем все их машины, да, Вильгельм? А уж их самолеты – сами пусть на них летают.

Аланд вроде бы улыбался, и в то же время, Кох чувствовал, что Аланд остро сочувствует ему.

– Грудь болит? – вполголоса спрашивал Фердинанд.

– Всё болит, – шептал в ответ Кох. – Мне очень плохо, положите меня прямо тут. Я на земле полежу...

Аланд принял Коха на руки, как ребенка.

Кох с надеждой смотрел в глаза Аланда – неужели не сердится?

– Да, знаю, Вильгельм, жив – и на том спасибо. Черт с ней, с машиной, не машина и была, я знаю, что ты не столько пьян, сколько напуган. Сейчас ты заснешь, а проснешься здоровым. Не беспокойся, с тобой все нормально.

История с аэродромом сном так и не оказалась. Кох проснулся ослабшим, но острой боли он нигде не чувствовал, немного подташнивало, и при попытке поднять голову хотелось положить её снова на подушку.

Аланд улыбался, говорил о пустяках, заговаривал тяжелые мысли Коха. Кох не столько слушал, сколько смотрел на Аланда, и чувствовал, что тот знает абсолютно все, что с Кохом произошло. Конечно, его встреча со странным стариком, его детские сны и полет с Эрнстом – сродни сумасшествию. Аланд знает, что Кох сумасшедший. Что он сделает с Кохом? Отправит в дом скорби? Выгонит? Будет лечить? Фердинанд все-таки очень хороший доктор, он в первый же день понял, что Кох сумасшедший. Он распознал в Кохе склонность к безумию с первого взгляда. Что теперь делать? Почему это случилось с ним? Что он сделал не так? Что он будет делать теперь? Где-то в закрытых стенах сидеть и рисовать самолеты, вспоминая детские сны? Ясно, что к самолетам его не допустят и лётчиком ему не стать, он бы и сам никогда не допустил безумца к полетам.

– Не мучай себя, – перебил поток его мыслей Аланд. – Ты просто мне сейчас все подобно расскажешь. Что смогу, объясню, никому другому о том, что с тобой произошло, говорить не нужно. Мог бы не рассказывать и мне, но я все знаю, ты абсолютно нормален, Вильгельм. Ты пережил состояние, которого прежде не было, ты потрясен, потому что столкнулся с чем-то новым в себе, ты не можешь себе все до конца объяснить, это один из феноменов твоего сознания, нормального, расширяющегося, сознания. Даже странно, что с тобой это так скоро случилось.

– Вы не прогоните меня и не отправите в лечебницу?

– Ты чувствуешь себя больным? Ты неадекватно воспринимаешь то, что с тобой сейчас происходит? Нервы твои напряжены, ты ослаб, но внутренний ожог и отравление – слишком тяжелые вещи для организма. Чтобы их залечить, потребуется время, я наказал злых шутников. Тебе придется немного побыть в стенах Корпуса, даже в университет ездить пока не будешь, поучись здесь. Учиться полноценно и тому, что тебе действительно нужно, я тебе помогу.

– Вы знаете, кто был этот старик?

– Да, этого господина я хорошо знаю. Это Бенедикто, мой учитель и мой отец. Он давно покинул земной план и лет двадцать даже в духовных планах ко мне не навещался. Интересно, что он пришел к тебе. Его не нужно бояться, ни твоему разуму, ни твоей душе он вреда не причинит, ему ты можешь доверять, но ни с кем никогда не говори об этом, и о том, что начало меняться в тебе, иначе тебе всё закроют. Это редкий дар, я не планировал еще года два-три даже начинать над ним работу в тебе, но Бенедикто счел, что ты готов, или он хотел удержать тебя от какого-то неверного шага. Второе легко предположить, если учесть, что он дал тебе пережить.

– Что со мной было?

– Твое сознание может совмещаться с сознанием другого человека и при этом не нарушать ни своей, ни чужой целостности. Этот дар требует от человека мощной духовной зрелости и кристальной чистоты, Вильгельм, просто так он никому не дается. Это не приглашение к шарлатанству, это тяжелый дар. Я бы не взвалил пока на твои плечи такой ноши, дал бы тебе стихийно почувствовать в себе его, медленно его осознать и примириться с ним. Почему Бенедикто поступил иначе – мне предстоит понять, но будь щепетилен и осторожен, когда подобное вмешательство приходит тебе на ум.

– У вас был очень строгий отец?

– Да, Вильгельм, – Аланд сделал страшные глаза и рассмеялся. Ясно, он шутит.

– Он называл вас засранцем, – чуть улыбнулся Кох.

– Кто б сомневался. Ласково, он заскучал обо мне? И мне его не хватает. Простыми наши отношения с Бенедикто не назовешь, но я его всегда очень любил. И сейчас считаю, что это лучший из людей. Не только потому, что он великий учитель, он великая любовь. Интересно, в какой чин он возвел тебя – в чин поросенка, головастика, волчонка?

– Ни одним из этих слов он меня не назвал, только по имени.

– Значит, он высокого мнения о тебе, Вильгельм. По сути, этот дар открывает возможности пользоваться телесным сознанием и разумом другого человека, поэтому ты понимаешь, каким нравственным целомудрием нужно обладать, чтобы не воспользоваться этим даром кому-то во вред. Тебя он признал зрелым и глубоко порядочным человеком, я с ним согласен, учись владеть собой.

– Зачем он вообще этот дар? Мне не нужно это.

– Мне так не показалось. Не нужно? Забудь о нем, мы поработаем над этим, и когда он будет тебе необходим, ты сумеешь им воспользоваться. Сейчас пойми, что безумие – это утрата связи с собственной личностью, с тобой этого не было, ты осознавал себя постоянно. Если ты почувствуешь, что ты не хотел бы оставаться один, говори мне, я обычно могу поменять порядок своих дел и побуду около тебя. Душа твоя какое-то время будет в потрясенном состоянии. Фердинанд сейчас занят своими исследованиями, много оперирует, он часто будет отсутствовать или сидеть у себя в лаборатории, но я все время буду с тобой. Эта ответственность ложится не только на тебя, но и на меня, я не сомневаюсь в тебе, Вильгельм. А пока поправляйся.

– Я буду летать?

– Будешь. Только поучись, поработай, чтобы ты поднял в небо то детище, за которое ты отвечаешь. Первую авиашколу в Германии откроют лишь через два года. Обещаю, я сразу тебя туда отправлю. Пока это клубы по интересам, никто ни за что не отвечает. Есть какой-то

налет военной бравады, но это анархия, военное ведомство интересуется твоими проектами, поэтому доводи их до ума.

– Господин Аланд, посидите со мной. Я хочу, чтобы вы положили мне на лоб ваши руки, я раздавлен полностью, не знаю, что это такое, но я очень нуждаюсь в вас сейчас. Мне страшно, я и не знал, что я такой трус, не знаю, чего я боюсь. Мир раскололся.

– Это пройдет, Вильгельм. Можешь назвать меня отцом. Я понимаю, что иногда кроме этого слова ни одно другое не утешает.

Аланд гладил лоб Коха, держал его виски.

– Отец, мне кажется, что я умер с тем летчиком.

– Я сказал бы, что ты с ним прошел через смерть, смерть – переход, но обратным переходом владеют не все, и он не всегда возможен.

– Я отнимаю у тебя время?

– Мое время дано мне только для вас. Ты не можешь отнять у меня то, что и так принадлежит тебе. Я буду немного подлечивать тебя, выводить яды, которыми чужая глупость напичкала твою печень. Потому тебя и тошнит, и ты чувствуешь себя слабым. Будет тянуть в сон еще пару недель, но твоей потрясенной душе сон на пользу. Мы будем много с тобой гулять, я покажу тебе окрестности, сходим к озеру, Фердинанд иногда сможет составить нам компанию. Все хорошо, пока все хорошо.

– Я не могу тебе объяснить, как я тебя люблю, отец.

– Видишь, как все просто, а я не понял, что хотел мне сказать Бенедикто.

– Что он хотел сказать?

– Как ты умеешь любить, Вильгельм. Прости меня, сын, я не почувствовал твоей настоящей силы, а он ее оценил.

– Мне стыдно перед тобой, отец. Я не должен так привязываться к тебе. Но когда эта дрянь едва не отравила меня, я понял, что он хотел меня с тобой разлучить, оторвать меня от тебя, и я возненавидел его. Но это не все. Когда я сел за руль твоей машины, я приказал себе ощутить себя тобой! Я не имел на это права.

– Сын, я скажу тебе, что ты был малой частью меня, одним закутком моего сознания, тебе это помогло, я рад. Апофеозом Пути будет миг, когда наши разрозненные, полные эго сознания станут едины и сольются в Любви, которая пока еще нам недоступна. Если ты будешь приходить в гости своим сознанием в мое, как я сам столько лет к тебе навевался, я буду тебе рад. О твоей работе даже в Корпусе не будет знать никто, но со мной постарайся оставаться откровенным.

– Отец, я не люблю свою слабость, мне никогда не было так плохо и страшно. Почему мне хочется плакать, бессмысленно лить слезы, целое озеро, вселенский потоп.

– Бессмысленных слез не бывает, сын. Хочешь плакать – плачь, ты и в самом деле этим не грешил никогда. Со слезами из жизни уходит то, что мешает нам двигаться вверх. Слезы-требования, слезы-капризы отвратительны, но есть слезы, которыми жизнь отмывает нас. Это еще один странный закон, нас отчищают, едва мы в выпачкали себя, тебя тоже выпачкали, сын. Но кто нам мешает помыться в укромном закутке подсознания? Разумом ты объяснить не можешь ничего даже себе. Плачь, я тебя прислоню к себе, и мы пойдем дальше. Если вдуматься, мы с тобой сейчас счастливы так, как раньше мы счастливы не были. Я когда-то тоже мог неделями лить слезы и не прерваться, потом все равно зашвыривает вверх.

– Ты сказал, что непустишь меня учиться, и думаешь, я огорчен? Ты один меня любишь и почему-то еще Фердинанд, я скучаю по нему.

– Научиться жить обыденной жизнью сложно, когда сознание перестраивается, но придется научиться и этому. В мире нужно оставаться естественным и адекватным, чтоб не утратить способность что-то объяснить и доказать. Сначала человек рождается и плачет, рождаясь, потому что иначе ему не развернуть легкие. И тебе сейчас приходится снова рождаться. Зачем

это происходит, мы понимаем значительно позже. Рождайся, плачь и не спрашивай себя пока ни о чем, просто учись видеть, слышать, дышать и радоваться. Мы приходим в мир как ответы на вопрос, которого мы не задавали. Мы отвечаем невольно кому-то, и кто-то невольно отвечает нам. Как говорил Бенедикто, такова игра Господа. Я рад, что ты есть, что ты такой, как ты есть, мы с тобой полные союзники, нам идти рука об руку.

– Пока я могу налить в твою руку только целую лужу слез.

– Может, Бог и задумал мою ладонь как чашу для этого священного жидкого кристалла, и даст ему через миллионы лет затвердеть и превратиться в алмаз, – Аланд улыбался, и Кох улыбнулся.

– Отец, из меня никогда ничего путного не выйдет, я как аморфная амёба.

– Но иногда эта амёба умеет сложиться в роскошный кулак. И что для всех особенно неприятно, сын, это с тобой происходит именно тогда, когда все уже начинают верить в твою аморфность.

– Абель меня научил, а его вы.

– А как ты расквасил нос Густаву Шлейхелю, не помнишь? Один он не пошел против тебя. Это не делает чести ему, но делает честь тебе. Я рад, что против моего сына они осмелились выйти только впятером. Вильгельм, мы с тобой еще работать толком не начали, но кое-что уже есть. Теперь ты обнимешь меня?

– Я бы врос в тебя.

Кох обнял Аланда, пытался покрепче уткнуться в него.

– Теперь ляг и отдохни.

Аланд положил голову Коха на подушку, Кох опустил в нее уже спящим. Ему снилось, что он снова чайка и летит против шквального ветра, выводя острые края крыльев чуть впереди себя. Бешеное напряжение вот-вот грозило разорвать его легкое тело, его сейчас должен был сразить самый мощный, сокрушительный шквал, он приготовился врезаться в смертоносный поток, сердце остановилось в предчувствии гибели и дерзком ликовании. Он оглох, так страшен был этот удар, и вдруг сделалось тихо, светло, так светло, что он много раз пытался открыть глаза и зажмуривался опять. Почему так слепил этот свет? Почему он не может ничего под собой, над собой рассмотреть. Никакое солнце не может так сиять. Кох открыл глаза и понял, что он молния, и остановленный миг его жизни – это вспышка, ослепительный миг жизни молнии, пока она проносится в толще облаков.

– Что тебе приснилось, Вильгельм?

Он проснулся, увидел комнату Абеля, Аланд повернулся от окна, в которое он только что смотрел.

– Кем ты был на этот раз?

– Кажется, молнией.

– Как себя чувствует твое тело? Его не растянуло еще сантиметров на десять в длину?

– Я хочу играть Баха, отец.

– Господин Аланд, Вильгельм. Хорошо? Мы не одни.

Глаза Аланда смеялись, Кох улыбнулся. Аланд заговорил про университет. Кох сказал, что на математическое отделение он не хочет, а пошел бы изучать философию, послушал бы некоторые разделы физики, химии. Аланд не удивился, пожал плечами и сказал:

– Хорошо.

Глава 6. Гейнц Хорн

В 1889 году в Берлине Аланд появился ненадолго. Он отправился к иностранному советнику Хорну забрать свои документы, поскольку тот попросил подвезти к нему домой, ибо ему нездоровилось, он немного простыл.

Аланд приехал, увидел его жену: яркая, волевая красавица, вот она в отличие от советника Хорна действительно, больна, но болезни не признает. Аланду понравилось, как гордо она прошла мимо него, не удостоив не то что приветствия, а и самого мимолетного взгляда. Понятно, досаждают мужу своим несоблюдением этикета, когда тот при исполнении обязанностей, с другими обязанностями у него тоже проблемы, для нее он явно староват. Лет немного, но полный старик. Ему бы сидеть и помалкивать при такой женщине, а он на нее еще разгневанным павлином посматривает. Странно, что она вообще пускает его в свою постель, она хочет ребенка, понятно. Ей тошно жить, думает, что с ребенком ей будет лучше, обычная женская иллюзия.

Прошла мимо, но Аланд довольно бесцеремонно смотрит ей вслед, не обернувшись, скрылась за высокой дверью.

– Проходите ко мне в кабинет, господин Аланд, – покашливая, отработывая свою мнимую простуду, говорит Аланду Хорн.

Аланд идет за ним следом, разглядывает его, это не так интересно. Склонность к апopleксии, желчный, истеричный, за «хорошими манерами» прячет вечное недовольство жизнью, очень завистлив, тщеславен, никаких дарований; в детстве забит зубрежкой – во что бы то ни стало старался быть первым учеником, что при такой небогатой природе было, конечно, непросто. Поэтому волю развил, дома деспотичен, на службе гадит исподтишка, интригует и сплетничает. Дома мучает жену. Ревностью? Отвратительный тип, я на месте этой красавицы никогда бы не решился родить ребенка от такого уroda. Внешне он, конечно, напоминает мужчину, но передается не только внешность. «У меня бы рука не поднялась приласкать это ничтожество, будь я женщиной», – думал Аланд, едва сдерживая насмешку.

«А вот она – очень даже ничего, особенно любопытно, пройдет ли она мимо меня, также не здороваясь, завтра? Нужно немного задержаться. Нужно, чтобы мне предложили посидеть в гостиной, и его жена поговорила со мной минут пять в отсутствие павлина, разумеется».

Советник Хорн, все побряхтывая и поперхивая, как тяжелую ношу, несет папку с документами.

– Думаю, все в порядке, – говорит он, намекая на то, что можно не проверять и поскорее убраться.

«А у меня другие планы».

– Не возражаете, если я все-таки взгляну?

Против этого ни один государственный клерк возразить не посмеет, потому что бумажки есть бумажки, это святое, их нужно проверять, иметь, хранить, то есть уважать.

– Конечно, можете присесть.

Аланд сел в кресло, он умел обозначить свое место в пространстве. Советник сам опускается на угол стула, словно не он тут хозяин. «Вот и повиси на своем геморрое».

– Хорошо, что взглянул, – сообщил Аланд, изображая великодушие и снисхождение. – Это не вы заполняли?

– Нет, я такими вещами не занимаюсь, господин Аланд, это делопроизводители. Что-то не так?

– Ну, если с вашей точки зрения мне вчера исполнилось 89 лет, то, конечно, придраться не к чему. На границе мне придется клеить фальшивую седую бороду, чтобы соответствовать этим документам.

– Быть не может! – советник Хорн с ужасом смотрит в документы.

Там, конечно, этого не написано, но он увидит именно это.

– Убедились?

– Какая досадная оплошность... Господин Аланд, вы не могли бы прийти завтра? Мне очень неловко...

– Я просмотрю и остальное, чтоб завтра еще чего-нибудь нового не узнать о себе.

– Конечно... Может быть, чаю?

– Лучше кофе. Ваша жена играет на фортепиано? Хорошая пианистка.

– Да, если вам мешает, я попрошу ее прерваться.

– Не надо, я люблю музыку, особенно в хорошем исполнении.

– Тогда, может, пройдете в гостиную, пока приготовят кофе?

– Охотно.

– Я все улажу, господин Аланд. Я провожу вас и, пока вы пьете кофе, все улажу. Или скажу вам, когда вам зайти... Такая нелепость! Такая досада!..

– Печатаете документы прямо дома?

Это шутка. Хорн улыбается – как поймал подачу, только что рапорт не составил, что шутка понятна.

– Не провожайте, я слышу, откуда доносится музыка, и постараюсь не отвлекать вашу супругу, посижу, послушаю.

Аланд бесшумно приоткрыл дверь, вошел, остался стоять спиной к дверям, смотрит на ее сильные руки, на ее сильное чувство в игре. Да она просто хороша. «Ну, теперь-то ты обернешься, дорогая?»

Не оборачивается. Просто опустила с клавиатуры руки и, спиной сидя к дверям, говорит голосом чуть низковатым, но очень приятным для слуха:

– Кто вас научил входить без стука?

– Я бы постучал, когда вы закончили играть.

– Я закончила.

– Жаль, я так хотел послушать. Но тук-тук! Вы позволите мне войти?

– После того, как вы уже вошли, это трудно, разве что вытолкать вас сначала.

– Мне это было бы особенно приятно.

– Что вы хотите?

– Если честно, я хочу составить вам компанию, раз уж вы решили прогуляться. Я дождусь вас внизу, вы ведь не будете из-за меня переменять ваших намерений?

– Вы знаете, что я решила прогуляться?

– Как видите. Вы хотите прогуляться в экипаже или пешком?

– Пешком и, конечно, без вас, вы слишком навязчивы.

– Посмотрите мне в глаза, и ваша голова болеть перестанет. Вы напрасно так распереживались из-за ссоры с господином советником, или нет, ссора тут не причем, к ссорам вы привыкли. Мой Бог, да вас нужно поздравить, а вы огорчены?

Она очень внимательно смотрела Аланду в глаза.

– Да, я огорчена.

– У вас будет прекрасная дочка, похожая только на вас. Какая досада, что я опоздал.

– Послушайте, кто вы? – в ее голосе зазвенели слёзы, у Аланда защемило сердце. – Уйдите, я вас прошу! Мне не до ваших шуток!

– Я понимаю, – он ответил ей так, что она не захотела повышать на него голос, повернулась и отошла к окну. – И все-таки, я вас подожду.

Аланд забрал документы, вышел из квартиры, советник Хорн, забыв о своей простуде и общей слабости, проворно выскочил следом.

– Господин Аланд! Куда же вы? Подождите, мы все уладим!

– Я найду, где мне исправить ваши недочеты, – ответил Аланд. – Все в порядке.

«Отправить тебя из советников в делопроизводители», – рассуждал мысленно Аланд.

Он прождал ее полчаса. Она все-таки вышла и, как ни странно, ответила на его улыбку.

– Вы сказали ему, когда вернетесь? – спросил Аланд, предлагая ей руку, она взяла его под руку.

– Нет, я оставила записку, что ушла к сестре.

– Спасибо.

– За что?

– За то, что вы проведете со мной вечер, может быть, вашему мужу не покажется странным, если вы загоститесь у вашей сестры до завтра.

– Это какой-то пошлый намек?

– Не пошлый, слово благородного человека, что я к вам не прикоснусь, если вы мне этого не позволите, но что нам с вами будет вдвоем хорошо, я вам обещаю.

– Вы благородный человек?

– Вы в этом убедитесь.

– Так куда мы пойдем?

– Вариант первый – мой номер в гостинице, оговариваю сразу, у меня в номере великолепный рояль. Отличный ужин гарантирую, вино – разве что самое легкое, белое, которое вам не повредит. Вариант второй – мы гуляем, заходим в ресторан, я угощаю вас ужином, и мы все равно пойдем ко мне в номер...

– То есть вы хотите сказать, что как ни крути...

– Да, пани, думаю, вы не пожалеете. К тому же, я обрек сегодня вашего советника на беспокойство, он будет зол и будет терроризировать вас. Может, вас от него избавить? Лучше после рождения дочки, чтоб он в нее, как бес, не вселился.

Она улыбалась.

– С вами весело.

– Я пока боюсь перед вами выставляться напоказ, вдруг вы снова решите, что я навязчив.

– Я не люблю рестораны.

– Я тоже. Значит, решено, идем ко мне в номер. Обещайте, что сына вы родите все-таки от меня, я сумею вас избавить от неприятных вам домогательств вашего мужа.

– Это просто наглость, мы ведь даже не познакомились.

– Непростительная оплошность с моей стороны, пани Луиза, забыл представиться – генерал Аланд.

– Мне так и обращаться к вам, господин генерал? – она, наконец, рассмеялась.

– Можно просто Аланд, или Аландо – как вам нравится.

– Итальянец?

– У нас с вами, пани Луиза, были бы отличные дети. То ли я опоздал, то ли вы поторопились, не понимаю, я вам помогу.

– Интересно, как? – она отворачивалась и не могла сдержать смех.

– Я маг и чародей, всю порчу, что ваш муж на вас навел, я отведу, и у вас родится ваша, и только ваша прелестная дочка. Вы научите ее играть на рояле и будете вместе дожидаться, когда я вернусь, чтобы у вас родился еще и чудесный сын, но сын на меня все-таки будет немного похож.

Он говорил глубоким тихим голосом, говорил всерьез. Ей нравилось смотреть на него, слушать его, и идти, чувствуя его надежную руку, его ритмичный и легкий шаг. Он наклонился к ее волосам и прошептал ей на ухо:

– Мы все исправим, ну, почти всё.

Луиза с удивлением осматривала его номер с роскошным роялем посреди уютной гостиной. Вторая комната была спальней – её Аланд мимоходом прикрыл, переговорил с портье, вполголоса и почти в коридоре, так, что она не могла разобрать его слов. Вернулся, обвёл рукой комнату.

– Ищите себе место, пани Луиза, где вам понравится. Можете обойти номер, чтобы вы чувствовали себя, как дома, трогать и брать можно все. Даже меня.

В номер постучали, горничная несла закуски, сладости, фрукты. Аланд достал бутылку вина, хрустальные фужеры, красиво расставил все на передвижном столе.

– Так где мы с вами сядем? Вы еще не определились?

Он снова вышел на легкий стук и вернулся с огромным букетом высоких алых роз.

– Я угадал? Это ваши любимые цветы?

– Аланд... – растерянно проговорила Луиза. – Но как?

– На свете не так много вещей, которые действительно невозможны.

Он подошел к ней очень близко и подарил ей не то что букет, а себя с букетом, только цветы и разделяли их.

– Я понимаю, пани Луиза, вы очень расстроены, что забеременели от этого идиота, я бы тоже расстроился, если бы забеременел от него.

– Не смейся меня, Аланд. Я так и вижу тебя забеременевшим от моего мужа.

– Вам-то что, я и сам себя вижу от него забеременевшим. Это ужасно, Луиза, как ты могла на такое польститься!.. Сколько лет тебе было, когда ты вышла за него? 23? – он сам отвечал на свои вопросы, быстрее, чем она успевала на них отвечать. – Я не вижу за тобой таких уж ужасных долгов перед ним, тем более непонятно. Ты красивая, образованная, молодая, ты пианистка, каких мало, и этот трухлявый пень? Ханжа, лицемер, плешивый дурак, как такое возможно?

– Ему всего 35, Аланд, с чего ты взял, что он трухлявый пень?

– По фальшивому паспорту и мне 35, и что?

– Но у него настоящий. Так ведь паспорт у тебя испорчен, там стоит неверная дата рождения.

– Твой муж делает фальшивые паспорта и еще тебе об этом рассказывает?

– Нет, но ты же у него забирал свой паспорт, и муж сказал, что тебе по ошибке поставили год рождения 1800.

– В самом деле, ошиблись. Мне давно уже исполнилось 300 лет, только кто об этом догадается? И твой 35-летний супруг против меня выстарившийся ипохондрик с досрочным геморроем, гипертонией, разливами желчи, вечными жалобами на дурное самочувствие и усталость. Я не преувеличиваю? И где же ему 35, если у меня и в 300 ничего подобного не бывало?

Она опять засмеялась.

– Ты мне не дашь и сорока, ведь так? В паспорте у меня написано все, как должно быть написано. На, посмотри.

– Но почему он сказал...

– Он так увидел.

– Почему?

– Почему, – передразнил ее Аланд, но смешно и не обидно. – На, еще раз смотри, что ты видишь?

– 1800. Как так?

– А теперь?

– 1854.

– А теперь?

– Снова 1800... Как ты меня дурачишь, Аланд?

– Это пустяки, Луиза, примитивный, поверхностный гипноз. Люди обычно видят то, что я хочу, чтоб они увидели. Но тебя я не хочу морочить, ты мне интересна в том виде, в каком ты есть. Не бойся, я тебя не загипнотизировал.

– Ты злой колдун?

– Нет, я всего лишь твой потенциальный любовник, думаю, что так. Пока я налью нам вина, и ты можешь покаяться, как ты с ним познакомилась и как тебе пришло в голову с ним остаться? Я, конечно, представляю, но можешь облегчить душу.

Луиза с удовольствием с ногами забралась в кресло, он укрыл ее пледом, подвинул ей вазу с виноградом, чувствуя, что ей хочется именно винограда, подал ей фужер, переставил вазу с цветами и подвинул поближе свое кресло. Смотрел он с напускной строгостью.

– Слушаю, кайся.

– Я играла на приеме, – она отхлебнула вина, одобрительно шевельнула бровью. – Они подошли, все такие во фраках, с цветами. Он принес шампанское...

Аланд поморщился.

– Луиза, и ты повелась на это? Это был первый мужчина, оказавший тебе знак внимания? Хочешь, я тоже надену фрак? Я буду смотреться в нем импозантнее, чем твой облетевший до срока павлин. Господи, разве можно так карать человеческую неопытность!.. Я не понимаю тебя... Хорошо, Луиза, я надену фрак, чтоб ты поняла, фрак есть у многих мужчин. Мужчины встречаются даже реже, чем фраки.

– Аланд, не смейся меня.

– Ты права, во фраке я буду смешон, как твой облезлый павлин. Куда лучше я буду смотреться без фрака.

– Дай мне поесть, Аланд, ты даже не сказал тоста.

– Какой тост, дорогая? Ты пила с ним шампанское, быстро захмелела и, наверное, хохотала, когда он своей поганой рукой полез к тебе в вырез платья. Я правильно излагаю?

– Аланд, перестань.

– Поить тебя шампанским я никогда не буду. Я угощаю тебя тонким, легким вином, оно лечит, правда, не от беременности.

– Аланд, ты злой. Я буду звать тебя злым колдуном.

– Я просто знаю больше, чем хочу, это не так приятно, как кажется. Не знай я, что ты беременна, ты и сама дня два как догадалась, я бы поступил с тобой куда проще, я был бы свободнее. Розы бы подарил, напоил бы непременно шампанским – и вперёд.

– Ты злой, Аланд!

– Если бы я был злой... Мне вообще людей жалко, а женщин особенно. Они рождаются, обремененные любовью, но кому она нужна в этом мире? Мужчине проще, надоело все, пошел – застрелился, женщины себе и это не могут позволить. Они отвечают за детей, за своих мужчин. Мне нельзя иметь дочерей, я разбалую их до невозможности, к мальчишкам у меня такой жалости нет, я их изнутри, стервецов, знаю, с них я легко спущу и семь, и семьдесят семь шкур. Лучше б ты поздоровалась со мной сегодня.

– При чем тут поздоровалась?

– Меня задело то, что ты так гордо мимо меня прошла, я и решил, что я буду не я, если сегодня же не уложу тебя с собою в постель.

– И до сих пор не уложил, какой ужас! – она все смеялась.

– В другой раз, я уже говорил тебе, что я благородный человек. Не хохочи, будет истерика. Луиза, я огорчился из-за твоей истории.

– Ты даже меня не обнимешь?

– Обниму, я буду тебя сегодня жалеть, просто жалеть, потому что ты глупая девочка. Я хочу тебя обнимать, хочу зацеловать твои уставшие плакать тайком глаза. Мы будем с тобой утешать друг друга, потом я приеду к тебе, и тогда мы отдадимся любви. Твой дурак тебя не отпустит и убить его невозможно. Пока дети не родились, он должен болтаться здесь, чтоб тебе не выносить его у себя под сердцем. Такой, если у тебя родится, выпьет все светлое из тебя, потому что свету хватает себя самого, а темнота питается светом другого, но отказаться от этого монстра ты не сможешь, если это будет твой сын или твоя дочь. Не смейся, я прошу тебя, это больной, нехороший смех, иди, я успокою твоё изболевшееся сердце, пусть тебе хоть сегодня будет спокойно.

– Аланд, почему ты такой смешной?

Утром, провожая её, Аланд еще раз напомнил ей, что приедет к ней за сыном, она смеялась и грустила, уверенная в том, что уедет он навсегда, он уже казался ей промелькнувшим сном. Розы она отпустила плыть по реке, медленно, по одной. Он стоял рядом и смотрел, как она это делает. У дома он довольно бессовестно, долго ее целовал и, уже уходя, сказал:

– Ты напрасно думаешь, что я не вернусь, наш разговор о любви не закончен. Твое полное имя Анна-Мария-Луиза, девочку назови Анна-Мария. Можешь считать, что ее отец я, это будет лучше даже для девочки, она хотя бы не будет ненавидеть всех мужчин. Не сердись, если я задержусь. Я не устроил свои дела, их много, и все они связаны с большими разъездами. Поживи, просто радуйся жизни. Муж от тебя не откажется – ему нужно соблюсти приличия, но и докучать тебе по ночам он не будет. Тебе вполне хватает тебя самой, и дочка тебя развлечет. Я приеду, нам было хорошо с тобой.

Через пять лет он вновь появился на пороге дома советника Хорна. Тот уже год как жил за границей и вернуться должен был нескоро. Аланда встретила милая четырехлетняя девочка, которую сопровождала чопорная гувернантка. Луизы дома не было. Аланд присел перед девочкой, разглядывая её – вылитая мать, и не только лицом, такая же решительная, смелая, ни тени кокетства или жеманства. Глаза внимательные, умные глаза, тоже разглядывает Аланда. Он уже сообщил, что приехал к пани Луизе, их с господином советником старый знакомый, вернулся в Берлин, очень долго здесь не был. Это пришлось сообщить гувернантке, чтобы посидеть, подождать Луизу. Девочке он принес красивую фарфоровую куклу – что еще принести девочке? Хоть она и не его дочь, но что-то связывало его с этим существом. Аланду она нравилась, и он думал, что зря отказал себе в удовольствии иметь дочерей. Они трогательны, в привязанности к мальчишкам, наверное, нет такой щемящей нежности, какую он испытывал, глядя в глаза этой маленькой Луизы, и во что потом развернется этот пока осторожный, не совсем доверчивый взгляд?

Он протянул ей куклу. Анна-Мария (так ее и звали), отпустила Аланду учтивейший книксен, взяла куклу и сказала Аланду с хорошо узнаваемой интонацией:

– Пойдем со мной, я тебе что-то покажу.

Гувернантка закатила глаза от ужаса, Аланд остановил ее зарождающуюся сентенцию беспрекословным жестом, и, пряча на дне глаз улыбку, послушно последовал за Анной-Марией. Она привела его в свою комнату и указала на полки сидящих рядами кукол.

Аланд рассмеялся.

– Вот именно, – сказала девочка. – Это хорошо, что тебе самому смешно. К ним я присоединю и твое убожество.

– Прости меня, милая девочка, ты можешь не утяжелять свое жизненное пространство моим убожеством, хоть в окно ее выброси.

– Это музей взрослой глупости, господин Аланд. Когда ты смотришь на эти полки, можно сосчитать, сколько взрослых дураков в наш дом заходило, – серьезно объясняла Анна-Мария.

Аланд был в восторге от её комментария – какая девочка!

– Но если вы действительно не обидитесь, то я подарю вашу куклу Катарине, моей гувернантке.

– Она любит играть в куклы? – серьезно спросил Аланд.

– Разумеется, нет, но ее дочка обожает этих фарфоровых чудовищ.

– А ты что любишь?

– Я люблю играть на фортепиано, люблю гулять, читаю книжки, но вообще-то я давно прошу маму вместо всех этих пучеглазых уродцев подарить мне нормального живого братика, я бы научила его играть на фортепиано, а когда бы он подрос, и мы бы с ним, как Ниннерль с Вольфгангом, путешествовали по миру и давали концерты.

Аланд так и сел, эта умница еще и его полный союзник.

– Мне кажется это разумным, – серьезно ответил ей Аланд.

– Вы скажете это моей маме?

– Конечно, моя радость.

– Ну, хоть один умный человек к нам случайно зашел.

Аланд еле сдерживал себя, так бы и обнял это фантастическое существо. Идиоту Хорну можно позавидовать, у него в доме две такие женщины, а он где-то ездит, перед кем-то изображает умного человека, был бы умный – не отошел бы от такой красоты.

– Я попробую твою маму уговорить поступить так, как ты хочешь. Мне твои мысли очень близки и понятны. Настоящий, живой брат, конечно, лучше, чем эти куклы. Хочешь, мы с тобой их всех подарим твоей гувернантке, а полки заставим хорошими книгами. Ты их прочитаешь сама, а потом будешь читать их твоему брату.

– Ты уверен, что мама не заругает тебя, если мы так поступим?

– Я уверен, что твоя мама умная женщина, она нас поймет. Мама надолго ушла?

– Она вернется только вечером.

– До ее возвращения мы управимся.

Через девять месяцев родился Гейнц. Ещё через полтора года возвратился советник, и, конечно, удивился появлению нового члена семьи. Анна-Мария спокойно объяснила отцу, что братика принесли по ее просьбе, что Гейнц очень хороший мальчик, он в своей детской кроватке уже распевает Баха, и очень чисто, и что, конечно, это родился новый Моцарт и надо радоваться, что он родился именно у них. Господин Аланд – единственный умный человек, он помог ей уговорить маму решиться на это, без него просто ничего у нее не получалось, мама упрячилась и отказывалась от такого счастья.

Советник не спешил радоваться. Попадать в дом Аланду стало сложнее, советник ненавидел его всей душой и, мягко говоря, недолюбливал в его отсутствие приобретенного будущего Моцарта. Разводиться советник отказался, сына признал своим и просил не выносить сор из избы, чтобы не повредить его репутации и карьере. Можно сказать, что Луиза приезжала к нему в гости или он навещался домой, но свою жену он скоро свел в могилу.

Когда Гейнцу Хорну исполнилось пять, Анне-Марии было десять. К тому времени они уже два года жили без матери. Анна-Мария была для Гейнца и матерью, и сестрой – она была для него всем. Она училась игре на фортепиано, много часов проводила за роялем матери, и Гейнц все часы ее занятий или стоял рядом с сестрой и смотрел, или играл у ее ног на ковре, слушая очень внимательно, тихо себе под нос напевая то, что она играла, но подойти к инструменту, чтобы извлечь из него хоть звук, категорически отказывался. Ни ласковые уговоры, ни авторитет Анны-Марии не могли переупрямить Гейнца.

Жили они под присмотром учителей и гувернанток, отца, иностранного советника и посла, дома почти не бывало. Приезжая домой на короткое время, он черпал сведения о жизни детей от тех, кто за ними присматривал, обыкновенно «имел беседу» с дочерью, с сыном, при них подробно анализировал сказанное гувернантками, брал с детей слово «и впредь стараться», и воспитательный момент на этом заканчивался.

Всё началось с того, что Анна-Мария и Гейнц попали на концерт симфонического оркестра с одной из тёток, сестер матери, которые детей навещали. Гейнца не хотели брать на концерт по малолетству, но Анна-Мария уговорила взять брата, видя, что он расплатится, если его без неё оставят дома.

Гейнц весь концерт простоял, держась за стоящее впереди кресло, во все глаза глядя на сцену. Его усаживали, он потихоньку сползал к краю кресла и снова стоял, словно он не слушал, а смотрел музыку и впереди сидящие мешали ему всё как следует рассмотреть из глубокого кресла.

Несколько дней Гейнц говорил только о концерте. Он брал в руки всё что угодно и превращал это в скрипки. Из всего оркестра он говорил только о них и распевал скрипичные партии так, словно они для него специально были расписаны и выучены им досконально. Он ходил по пятам за Анной-Марией и просил скрипку. Анна-Мария обратилась с просьбой к отцу, приехавшему как раз погостить. Советник Хорн, выслушав дочь, лишился дара речи от возмущения. Звук скрипки казался ему омерзительнее всего на свете, не говоря о том, что сам факт игры на скрипке для сына иностранного советника, тоже, безусловно, будущего дипломата и посла, – это позор, непростительная блажь, неприлично.

Он сказал это дочери, сказал в самых непрерываемых выражениях пятилетнему сыну. Гейнц вжимал голову в плечи, пятился, огромными, полными слёз глазами, смотрел на отца. Ответить отцу он ничего не мог, расплакался и убежал, а ночью у него был такой жар, что разбудили даже советника Хорна.

Крепким здоровьем Гейнц с рождения не отличался, унаследовав от матери болезнь сердца, от которой мать умерла тридцати лет от роду. Теперь вызванные врачи один за другим разводили руками и повторяли, что это нервная горячка, жар не сбивается, что при слабом сердце мальчика дни его сочтены.

Советник Хорн должен быть уезжать, но отложил отъезд, раз речь шла о днях, он решил дожидаться определённости.

Появление в доме этого «сына» было для советника Хорна крайне нежелательным. Не то чтобы советник был злым человеком, но мальчишка явно был непутёвым, маленьким, и в том, что он умрет, большой трагедии для советника Хорна не было, разве что несколько откладывался отъезд. Несвоевременно. Не приехать на похороны сына было бы странно, это говорило бы о душевной черствости советника, а ради этого возвращаться – хлопотно. Понятно, что у постели сына советник не сидел, но периодически заходил и спрашивал тех, кто при мальчике находился: «Ему хуже?», и спрашивал он это со все возрастающим нетерпением.

Первые дни Гейнц метался в жару, но краснота спадала с его лица, он все бледнел, губы его быстро синели, синел низ лица, западали глаза и очертился до остроты его нос с легкой горбинкой. Потом Гейнц ослабел так, что не мог приподнять не только головы, но и руки. Он ничего не ел, почти перестал пить, сестра никого к нему не подпускала, кроме врачей, сама ухаживала за ним, плакала, когда он впадал в беспамятство, и улыбалась, когда он открывал глаза.

Он приходил в себя все реже, отыскав глазами среди присутствующих Анну-Марию, смотрел на неё, отворачивался к стене, едва принимая воду с салфетки, которой Анна-Мария смачивала его губы, но однажды неожиданно для Анны-Марии он вдруг взял ее за руку, потянул к себе, а когда она наклонилась к нему, зашептал только ей, что он видел сон. Он был в Городе, где у всех людей были скрипки и где был очень красивый дирижер, с прямыми седыми, как у господина Ференца Листа, волосами, и этот дирижер подарил ему маленькую скрипку. Сказал, что он не хочет тут оставаться, он уходит туда, и пусть она не плачет, он скоро ее заберет, она будет с ним жить там, она будет петь и играть на рояле, а он будет целыми днями играть на скрипке, и тогда все будет по-настоящему хорошо. Здесь всё равно жить не дадут.

В комнате находился какой-то очередной доктор, он с удивлением слушал необыкновенный бред мальчика, Гейнц, совсем обессиленный, смолк. Увидел слезы в глазах сестры, он чуть мотнул головой.

– Говорю же, не плачь, – повторил он и закрыл глаза.

Дверь в комнату открылась, и вошли двое. Один из них был портретно схож с изображением Листа – прямые с сединой волосы, отличный фрак, галстук-бабочка, а с ним был господин, которого Анна-Мария знала. Он появлялся в доме до рождения Гейнца, с ним было связано что-то очень хорошее. Он когда-то подарил ей совсем ненужную куклу, но он очень хорошо играл на рояле и даже учил Анну-Марию, он был веселый, с ним было легко. Когда он исчез, она скучала о нём.

Вошли, поприветствовали всех давно не звучавшими здесь громкими голосами. Гейнц открыл глаза. Похожий на Листа человек сел в кресло у постели Гейнца, а старый знакомый Анны-Марии сел прямо на край постели больного, двумя руками взял его голову, потом опустил руки на грудь Гейнца, покачал головой и произнёс странную фразу:

– А мы вовремя, Ленц.

Гейнц задышал сильнее, уперся локтями в постель, приподнялся и попросил у сестры пить. Анна-Мария подскочила, дала воды. Старый знакомый улыбнулся и шепнул ей:

– Ты просто умница, моя девочка. Завари-ка ему крепкого чая, положи побольше сахара, он ведь любит сладкое, маленький сластена. Давай, моя дорогая, и про себя не забудь.

– Анна-Мария, – звонко, как до болезни, сказал сестре Гейнц, – это тот господин, – кивнул он на Ленца, – о котором я тебе говорил, вы ведь пришли за мной, господин Ленц?

– Скорее, к тебе, – улыбнулся тот. – Что ты так разболелся? Я принес тебе скрипку, думал, мы с тобой поиграем.

– Где она?

– Я пока положил ее в коридоре, нам сказали, ты болен.

– Вы не могли бы ее принести, господин Ленц?

Аланд держал руки на груди Гейнца, Гейнц этого не замечал, его занимал только Ленц, а вот доктор, стоявший в комнате, во все глаза смотрел на Аланда. Гейнц порозовел, синева с его губ исчезла, притом, что мальчик говорил, почти сидел. Аланд приподнял ему подушку. Ленц не спеша вышел, принес скрипку в крохотном футляре, вынул ее, заставил Гейнца вытянуть руку, приложил скрипку, кивнул:

– В самый раз, Аланд, ты угадал. Ну, что там? Что-то серьезное?

– Думаю, пару дней полежит и можно будет вставать. Главное, чтобы есть начал.

– Гейнц, ты слышал? Если ты хочешь играть на скрипке, надо выздоравливать, ты должен поесть.

– Хорошо, господин Ленц, я буду делать все, что вы скажете.

Анна-Мария принесла чай на подносе, как настоящая хозяйка, не забыв даже о всё молчащем докторе Гейнца.

С обожанием глядя на Аланда, она протянула чашку ему первому. Он, улыбаясь, поцеловал Анну-Марию в лоб.

– Спасибо, моя дорогая, ты забыла только про себя. Поэтому тебе придется выпить мой чай, сделай это, потому что я тебя очень прошу об этом. У тебя сейчас кончатся силы. Хорошо? Я потом с тобой почаевничаю, мы поболтаем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.